МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

По пути в бессмертие

SHOUT
SHARE
IT

- Юрий Нагибин

Юрий Нагибин
О Галиче — что помнится

Когда уходит знаменитый человек, он мгновенно обрастает друзьями, как пень опятами в грибной год. Сколько друзей появилось у довольно одинокого в жизни Твардовского и особенно — у Высоцкого! Нечто подобное происходит ныне с Галичем. Хотя свидетельствую: те, кого он называл друзьями, почти все ушли. Саша дружил большей частью с людьми старше себя, и нет ничего удивительного, что они покинули этот свет, ведь и Саше сейчас было бы за семьдесят.

Наши отношения с Сашей (я называю его так, как называл при жизни, величание по имени-отчеству было бы с моей стороны жеманством, ломаньем) прошли через несколько этапов: мгновенное влюбленное сдруживание с затянувшейся эйфорией от мощи первого толчка, долгая дружба, знавшая приливы и отливы, но прочная, верная, преданная — люди спаяны, но не настолько, чтобы поврозь не дышалось, не пелось, не пилось; встречи происходили зачастую непреднамеренно (мы вращались в одном кругу, бывали в одних местах, так что вполне случайными их не назовешь), порой под болезнь, но в основном — под внезапное душевное движение одного, мгновенно находившее отклик в другом, затем пришло чуть настороженное отчуждение, за которым все же скрывался жар, наконец резкое охлаждение, не убившее окончательно того доброго, что было заложено в молодости, но разведшее нас по разным концам света, сперва фигурально, а там и буквально — я не получал от Саши привета из того далека, куда занесла его судьба.

Попробую рассказать обо всех поворотах наших отношений, может быть, это что-то прибавит к образу Александра Галича, бронзовеющего на глазах под тихоструйной течью елея и патоки.

А Саша был настолько значителен и хорош, что нисколько не нуждается в приукрашивании. Он не труп, не надо подмазывать ему губы и румянить щеки, он присутствует в нашей жизни, более близкий и нужный, чем притворяющиеся живыми мертвяки.

Поведу я свой рассказ о Саше от жены его Ангелины, по-вгиковски — Ани, затем — с легкой Сашиной руки для всех сколь-нибудь близких — Нюшки. Простонародное прозвище было выбрано Сашей по контрасту — редко кому это тепло деревенское уменьшительное имя так мало подходило, как худой, утонченной, с длинными хрупкими пальцами Ангелине. Очень часто во внешности красивой женщины доминируют глаза, реже —

волосы, шея, рот, у Ани (я так и не смог перейти на Нюшку) руки были средоточием прелести. Бывало, на скучных, томительных вгиковских лекциях я, чтобы не отчаяться, неотрывно смотрел на длинные, нервные, нежные пальцы с миндалевидными темно-вишневыми ногтями. Сразу оговорюсь, нас связывала та прекрасная дружба, которая возможна между мужчиной и женщиной, когда и с той, и с другой стороны нет и тени влюбленности.

Аня была очень худа, сперва здоровой девичьей худобой, затем худобой чрезмерной, какой-то декадентской. Один режиссер замечательно сказал, что она похожа на рентгеновский снимок борзой. Большей бесплотности и представить себе нельзя. В послевоенном ВГИКе, куда Аня вернулась за дипломом, ее называли Фанера Милосская. Для автора этих воспоминаний идеалом женщины была даже не Венера Милосская, а Русская Венера, запечатленная щедрой кистью Кустодиева. Чистота нашей дружбы охранялась этим вкусом. И как чудесно дружить с юным, красивым, соблазнительным для других существом, когда ты сам застрахован от соблазна тверже, чем целомудренный Иосиф Прекрасный от чар жены Потифара!

Аня в юности была открыта, доверчива, необыкновенно добра, преданна в дружбе, влюбчива и долго оставалась такой. Отличал ее и немалый снобизм. Имена, репутации, известность человека значили для нее очень много. Ее женская суть охотно откликалась не просто привлекательному мужчине, а мужчине ну хотя бы заметному. Что не мешало ей быть долго и безответно влюбленной в моего дружка Осю Роскина, бедного московского школяра. Первый серьезный Анин роман был с человеком, который впоследствии сделал себе громкое литературное имя, а в ту пору ходил в подающих надежды режиссерах.

Летучие влюбленности в знаменитостей мирового и вгковского масштаба завершились весьма прозаическим браком с ординарцем ее отца — бригадного комиссара. Ординарец был нижним чином, но имел за плечами не то мединститут, не то фельдшерскую школу. Красивый тихий парень с пепельными волосами и пушистыми ресницами. Будущий муж никак не походил на героев Аниных действительных и воображаемых романов — скромнейший человек, которому ни при каких обстоятельствах не светило стать знаменитостью. Но ему светило стать отцом ее ребенка, и бригадный комиссар, строжайших нравственных правил, не спрашивал ни его, ни дочернего согласия на брак: полковой батюшка насильно обвенчал грешную пару в гарнизонной церкви. (Не знаю с чего, вдруг потянуло по-сашесоколовски смешать разные исторические пласты.) Они

расписались, и Аня приняла смешную, совсем ей не идущую простонародную польскую фамилию мужа. Она была радостным, отходчивым человеком и легко приняла неожиданный поворот в своей судьбе. Тем более что муж по обстоятельствам военной службы довольно редко появлялся в доме. Возможно, эти обстоятельства создавал сам бригадный комиссар, жалея проштрафившуюся дочь в глубине своего чугунного сердца.

Трудно было представить более неподходящего Ане отца, или, это будет вернее, менее подходящей дочери, нежели Аня, для жестковыйного комиссара с кругозором, ограниченным «Кратким курсом ВКП(б)». При этом у него был облик полководца эпохи наполеоновских войн. Статью и ростом он напоминал графа Игнатьева, а лицом был красивей, и значительней, и, как ни странно, аристократичней, хотя не существовало дворянского рода Прохоровых. Если и пробивались Прохоровы в первые люди, то по купечеству или предпринимательству. Но вот такая игра природы: Анину утонченность, изысканность профиля с коротким надменным носом легко было вычитать в могутных чертах отца. От матери, милой, домашней и вовсе не красивой, у Ани не было ничего, кроме доброты и гостеприимства, что немало.

В положенное время Аня родила девочку. Роды пошли ей на пользу, она чуть пополнела, у нее расцвел рот, и лицо обрело горячие южные краски, может, кожа стала восприимчивее к солнцу. Она кормила, у нее появился бюст, в этот период жизни никому не пришло бы в голову пошутить: Фанера Милосская. Она, видимо, чувствовала происшедшую в ней перемену и помогала ей: стала широко, во весь цветущий белозубый рот смеяться и напускать света в серые, с голубоватыми белками, глаза.

Мы были соседями и вместе ездили в институт, встречаясь у остановки трамвая на углу Кропоткинской. Доезжали до Арбатской площади, где пересаживались в троллейбус № 2, и через всю Москву плыли к Сельхозвыставке. Помню, мы ехал и разговаривали о популярном и на редкость идиотском романчике «Мими Блюэт», неизвестно почему заходившему в институте по рукам. Это была история потаскушки, написанная как бы от лица ее поклонника-друга, тривиальная, оставшаяся в моей памяти литературным курьезом, ибо автор странным образом не определил своего отношения к неопрятным похождениям героини. Об этом можно было писать осуждающе, иронически, сочувственно, насмешливо, даже восторженно, а он писал как-то рассеянно, будто не понимая, о чем идет речь, и завершал очередную скабрезную историю меланхолическим возгласом: «О, Мими Блюэт, нежный цветок моего сада!» «Какой сад? —

недоумевала Аня. — Он так называет публичный дом?» «Он имеет в виду де Сада», — глубокомысленно изрекал я. Мы болтали, несли околесицу, и Аней все сильнее овладевала смешливость. Вскоре ее смех стал неадекватен поводу — с переплеском. Так разряжаются порой непролитые слезы. Отвалился — пусть на миг — камень, и возрадовалось бедное человеческое сердце. Пассажиры оборачивались, это не сулило добра. Хотя всеобщее озлобление не достигало в ту пору нынешнего накала, молодой смех в публичном месте воспринимался «винтиками» как личное оскорбление. Я ждал, что ее обхамят, но люди смотрели на заливающуюся Аню снисходительно, даже добро, иные сами начинали улыбаться. Чему-то они отозвались — безоружность смеха или дарящей открытости горячего доверчивого лица?..

Когда мы расставались на обычном углу, я сказал:

— Ты была удивительно красивая в троллейбусе. Тебе надо чаще смеяться.

Она посмотрела на меня. Лицо ее будто сплавилось и померкло.

— Какая разница?.. Игра сыграна и проиграна.

— Ты бредишь?

— Нет. Проиграна бездарнейшим образом. Ладно. Пока.

Она повернулась и пошла, ссутулившись, словно немолодая усталая женщина, покорившаяся судьбе. И вот тогда вошли в меня невыносимая жалость к чужой жизни и жар лермонтовской молитвы…

В самом начале войны Анин муж пропал без вести. Отец ушел на фронт. Аня с матерью и дочерью эвакуировалась в Чистополь.

Встретились мы через полтора года, а казалось — через век. Аня вернулась в Москву одна, семья оставалась на Каме. Она почти не изменилась, только немного побледнела и чуть опустились уголки губ. Наша встреча получилась печальной, Аня все время плакала. Она не знала ни о гибели Оськи, ни о гибели других наших друзей. Это ее так ударило, что она стала лить слезы при любом сообщении, даже не таящем смертельного исхода. Меня она оплакала со всех сторон. Я был на фронте — в слезы… Демобилизовался после контузии — в слезы… Работаю военкором «Труда» — в слезы. Развелся с женой — поток слез… Женился опять — тютчевский разлив.

— Ты стала слезлива, как Железный Дровосек, — сказал я.

То был персонаж из нашей любимой сказки «Волшебник Изумрудного города». В его железной груди билось бесхитростное железное сердце, отзывающееся на любую боль, в отличие от искушенного человеческого, умеющего себя защитить. Поэтому он все время плакал и от слез ржавел.

Аня вспомнила, засмеялась и подсушилась.

У нее были медицинский спирт и копченая утка — посылка отца с фронта (охотился он там, что ли?). Мы сели ужинать. Я разбавил себе спирта.

— Как можно пить эту гадость? — Ее передернуло отвращением.

Я счел вопрос риторическим и промолчал. Жестокий ответ даст Ане через много лет сама жизнь.

Мы часто перезванивались с Аней, но виделись реже, чем нам хотелось бы. Я уже не был ее соседом, мотался по фронтам и тылам, а в свободное время обживался в новой семье, в непривычном для меня густом быте, притирался к людям незнакомой мне среды, пытаясь как-то примирить эту новизну с тем, что мне было дорого в старом укладе. Словом, жил сложно…

В эту пору я познакомился с Сашей — где-то на улице, наспех. Нас познакомил мой вгиковский товарищ, выпускник режиссерского факультета. Оканчивающие во время войны киноинститут получали работу и бронь, кроме лиц еврейской национальности. Справедливо посчитали: пусть молодые киноевреи повоюют за Россию, пока русские выпускники будут строить советский кинематограф в одной, отдельно взятой, стране. И этот одаренный режиссер, впоследствии поставивший много фильмов, среди которых были настоящие удачи, оказался в какой-то захудалой прожекторной части, где служил прославившийся вскоре Алексей Фатьянов. Алеша был справным золотоволосым солдатом гвардейской стати и лихости, а наш друг, потрясенный несправедливостью, совсем опустился. Словно воин поры начальной неподготовленности, он носил обмотки, башмаки б/у, шинельку б/у, матерчатый зеленый ремень и засаленную пилотку, которую надевал из цинизма не вдоль, а поперек. Он охранял Москву почему-то с востока, в Салтыковке, а на западе стал насмерть, в частях полевой почты, другой вгиковский воин, ныне известный писатель. Я уделяю всему этому так много места не только потому, что режиссер-прожектор познакомил меня с Галичем, но он познакомил с Галичем и Аню, у которой частенько находился постоем, получая увольнительную из своей призрачной части. Познакомил, как поется в песне, «на свое несчастье, на свою беду».

Еще во вгиковскую пору Аня относилась к нему с повышенным вниманием, поскольку он по праву считался одним из самых элегантных молодых людей Москвы. Его пиджаки, пальто и шуба на бобрах сводили с ума московских пижонов. У него был богатый дед, не чаявший души в сироте внуке.

Когда он представил меня Саше, я вспомнил, что видел того

на сцене театра-студии Арбузова в спектакле «Город на заре». Эта пьеса, написанная коллективом юных студийцев (в том числе Сашей) под руководством Арбузова, спустя многие годы таинственным образом оказалась единоличным произведением мэтра. Саша хорошо играл плохого (троцкистствующего) секретаря комсомольской организации великой стройки. По нынешним временам пьеса была фальшивой, но для нашего поколения она звучала волнующей дерзкой правдой. А сама студия была тем, чем для другого поколения оказался молодой театр «Современник». В спектакле звучали человеческие ноты, в непременную, как бы основополагающую ложь было упаковано немало истинной жизни и поэзии. Со сцены веяло юностью. Саше досталась, наверное, самая неблагодарная роль, но он с честью вышел из положения.

В короткие минуты первой встречи разговор зашел об этом спектакле. Я расспрашивал его о Гердте, ушедшем на фронт, он меня — о Севе Багрицком, бывшем студийце и молодом поэте, погибшем на Волхове почти на моих глазах. Мы обменялись телефонами.

Саша произвел на меня сильнейшее впечатление. Высокий рост, благородная худоба, длинное узкое лицо, чудесные карие глаза, казавшиеся темнее от тени, отбрасываемой полями шляпы. Когда Саша, прощаясь, приподнял шляпу, плеснуло смуглым золотом. Прекрасна была и его скромная элегантность: герое пальто-реглан, почти черная, с седым начесом, фетровая шляпа, безукоризненная складка брюк. Вот кто умел носить вещи! В дальнейшем я несколько раз ловился на этом. Встречал Сашу на улице в новом неземном костюме.

— Где шил? На Луне?

Он смеется.

— Нет, правда, в Риге, у Бирнбаума?

— В литфондовском ателье. У Шафрана.

Шафран — закройщик из Белостока, откуда пришли все лучшие портные и джаз Эдди Рознера (они достались нам в результате рукопожатия Молотова с Риббентропом), шьет мне отличный костюм, но вполне земной, не с Луны. Мне кажется, что он для Саши больше старается, ведь Саша далеко не Аполлон: сутулится, и плечи могли быть пошире. Самолюбивый Шафран лезет из кожи вон, шьет мне новый костюм — опять с Земли. Шьет Саше — с Луны. Дело не в Шафране, а в том, что каждая вещь на Саше живет, а не «сидит», она становится словно второй кожей, участвуя в каждом движении, жесте, шаге, повороте. Он словно населял вещь, своим изяществом и шармом.

Н. Коварский называл Сашу «еврейский Дориан Грей».

Я не умел завязывать знакомства, вечно боялся оказаться в тягость, и наша встреча наверняка б закончилась ничем, не позвони мне Саша на следующий день с предложением «пошататься по городу». Я выдвинул контрпредложение: небольшая выпивка в домашних условиях. Жил я в ту пору на улице Горького, а Саша неподалеку — на Малой Бронной. Надо сказать, Саша никогда не ломался и был предельно точен. Он появился раньше, чем мы с женой успели накрыть на стол.

— Прямо так сразу? — спросил Саша, застенчиво покосившись на графинчик с водкой.

— А чего терять золотое время?

Мы приступили. Его манера пить мне не понравилась. Он был из незакусывающих. Это значит, он не гасил заедком ожога глотка, а предоставлял организму справляться самому и уж затем что-то вяло жевал. Он был гурманом, а не едоком. Знал толк в еде, умел о ней поговорить, а сам ел мало и неохотно. Он должен быстро пьянеть, подумал я. Так оно и оказалось. Саша спросил мою жену, чем она занимается.

— Учусь петь.

— Не пой, красавица, при мне, — наклонив голову баранчиком, сказал Саша.

Шутка была сомнительная — он окосел на третьей рюмке. Вскоре он уже спал на диване, заботливо прикрытый пледом.

Через много лет, перенеся два тяжелейших инфаркта и многие болезни, Саша держал выпивку куда лучше, чем в молодости. Вскоре в нашем доме, в том дружеском кругу, куда ступил Саша, привыкли к его манере гулять. После первых трех рюмок он веселел, становился разговорчив, начинал рассказывать истории, которые мы уже знали наизусть, но могли слушать без конца, после четвертой его тянуло к роялю; он пел всегда одни и те же песни: «Вдали белеет чей-то парус», «Помню, в санях под медвежьего шкурою», «Как в одном небольшом-небольшом городишке», после пятой замолкал, только улыбался, наклоняя голову баранчиком и тараща свои прекрасные глаза, затем вдруг исчезал. Кидались его искать — он спал в свободной комнате глубоким, тихим сном. Мы его не трогали. Он просыпался, когда гости уже расходились, застенчиво улыбающийся и совершенно трезвый. «Посошков» он не признавал.

Мне всегда не хватало Саши, даже в тех редких случаях, когда он держался дольше обычного. С его отходом ко сну застолье теряло остроту и очарование. Все становилось плоским, грубым, тусклым, одухотворенный мир сползал в пьянку. И, чувствуя это, кто-то из компании начинал подражать Саше, повторяя его номера: о неудачнике циркаче, который, начав

падать с подкупольной высоты, под конец свалился в люк, о продавце патентованного средства «потоляз». Иные делали это очень искусно, почти один к одному, и все равно не получалось, пропадала какая-то изюминка.

В нашем первом скромном пировании, когда Саша проснулся, причем довольно скоро, мы начали с ним ту упоительную игру, которая останется с нами на годы. Называется эта игра: «А помнишь?» Нам почему-то попался под руку Лермонтов.

— А помнишь: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою»?..

— А это помнишь: «Есть слово, значенье темно иль ничтожно»?..

— А это: «По небу полуночи ангел летел»?..

— А это: «Наедине с тобою, брат»?..

— А это: «В полдневный зной, в долине Дагестана»?..

Хотя Саша и был актером, стихи он читал не по-актерски, а по-домашнему, пусть и в романтическом ключе, без заземления. И он как-то приближался в эти минуты, потому что Саша почти всегда находился в некотором отдалении. Не то чтобы он держал расстояние — ничуть, но в нем шла постоянная, сильная, обременительная работа души, которая не позволяла ему раствориться в окружающем, распахнуться другому человеку. Но стихи он любил… свирепо (любимое горьковское словечко, за которое Алексей Максимович хватался, не в силах найти точного обозначения своей увлеченности) и тут выплывал из земных глубин, становился доверчивым, незащищенным и близким. Наслушавшись Сашиного чтения, моя жена сказала однажды, что не может смотреть на Сашу без слез. Она не была такой уж любительницей поэзии, но верно угадала за маской самоуверенного денди незащищенную, ранимую душу.

Мне кажется, Саша страдал от несоответствия своей истинной сути официальному, что ли, статусу. Он знал, чего стоит, а положение актеришки заштатной прифронтовой студии (бывшие арбузовцы обслуживали воинские части) ощущалось им болезненно. Так и в дальнейшем, когда его, творца необыкновенных пьес (недаром же так рано заговорили о «театре Галича»), третировали, как мальчишку, газетные недоумки, когда его упорно не принимали в Союз писателей, хотя у него уже были поставленные пьесы и фильмы, когда его, автора «Матросской Тишины» и «Я умею делать чудеса», знали лишь как соавтора блестящей, но легковесной комедии «Вас вызывает Таймыр». Его драматургию упорно не пускали на сцену, лучшая пьеса «Матросская Тишина» дошла лишь до генеральной репетиции, другая — до премьерного спектакля, после чего была снята. Зеленую улицу дали лишь конформистской поделке «Пароход

зовут „Орленок“» — плоду душевной усталости.

Не обольщался он грандиозным успехом чепуховой и по словам, и по залихватскому мотиву песни «До свиданья, мама, не горюй». Недаром в одноактной пьесе С: Михалкова появлялся полупьяный слесарь по кличке Маманегорюй. Лишь когда по всей стране зазвучали в записях и на голосах его горестно-насмешливые песни, исполненные раскаленного гражданского чувства, произошло совмещение истинного образа Саши с его проекцией на действительность. За этими песнями был автор «Матросской Тишины», а не развеселых комедий или уютных пьес о «хорошем советском несчастье» вроде «Орленка».

А как давно тянуло Сашу к песне! Еще тогда, в дни войны, рояль и пианино производили на него магнетическое действие. Но что за песни он сочинял в те сумеречные годы! О «золотых листьях», легших на офицерские плечи, — ввели погоны, о страданиях театрального рабочего Григория, полюбившего «инженю-драматик». Помню, он должен был срочно воспеть коня и, по собственному признанию, тачал о нем так неистово, что «ноги стали кривыми, как у кавалериста». Саша жил по тем же законам, что и мы все. Напиши он тогда самую легкую и безобидную из своих гражданских песен, с ним было бы покончено.

Собственно говоря, с ним и так было покончено в свой час, ибо для Саши изгнание означало смерть, хотя песни его про звучали совсем в ином историческом климате, после оттепели, после XX съезда, вернувшего партию к ленинским нормам. О, эти никак не дающиеся нашему партийному руководству ленинские нормы! Можно подумать, что нравственный кодекс Ленина был сродни рахметовскому: спать на гвоздях и прочие самогубительные подвиги. А ведь речь идет всего-навсего о том, чтобы соблюдать элементарную порядочность. Сашу травили, преследовали, судили на секретариате СП и вышвырнули, как Пастернака, из наших «честных рядов». Его друг и учитель Арбузов огласил постыдное судилище криком: «Ты присвоил себе чужую биографию!» Вон как! Это потому, что Саша пел от лица узников, ссыльных, доходяг, работяг. С таким же успехом подобное обвинение можно бросить Высоцкому, певшему от лица разных бедолаг, и заодно инкриминировать ему самозванство: он пел о войне как солдат, а ведь он был малым ребенком в те годы. Благородному Арбузову, похоже, в голову не пришло, что, живя территориально на улице Черняховского в писательском доме, душой можно быть с теми, кто на лесоповале, что можно носить костюмы от Шафрана, а чувствовать на плечах засаленный ватник. Выходит, Н. А. Некрасов тоже украл биографию у

русского мужика-страстотерпца. Ему бы об Английском клубе петь, где он так удачно понтировал, а он пахарях, бурлаках, странниках надрывался.

Любопытно, что достоверность Сашиных песен ввела в заблуждение зарубежных издателей, и они действительно приписали Галичу чужую биографию: «Провел в тюрьмах и сталинских лагерях до 20 лет. После смерти Сталина был реабилитирован». Но Саша не отвечает за чужие промахи.

Впрочем, все это еще впереди. А сейчас я возвращаюсь из очередной поездки, набираю знакомый номер, и через полчаса мы до одури надсаживаемся:

— А помнишь: «Образ твой мучительный и зыбкий»?..

— А это: «Над желтизной правительственных зданий»?..

— А это: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез»?..

— А это: «Я пью за военные астры»?..

— А это: «Мой щегол, я голову закину»?..

Долгое время нашими героями были Лермонтов, Тютчев, Мандельштам, потом к ним прибавились Цветаева и Пастернак.

Вскоре Саша дал мне прочесть одну из своих ранних пьес — «Улица мальчиков». Я был праведным реалистом и совершенно не понимал даже малой условности в искусстве, но запретный плод сладок, и я сразу влюбился в Сашину пьесу. Я никак не мог взять в толк, что за радость жить на улице, населенной одними мальчиками. С девчонками вроде бы интересней. Эзоповский язык пьесы от меня ускользал. А ведь символика ее была так проста: жить на улице мальчиков — это значило бежать из дурного мира взрослых с их ложью, соглашательством, лицемерием и ханжеством. Все это прекрасно поняли люди, управляющие театром, и отвергли пьесу. Исполненный дружеского рвения, я предложил Саше сделать из пьесы повесть. «Проза для меня — дверь за семью печатями», — сказал он. «Я буду писать вдоль твоего текста, от тебя потребуются лишь руководящие указания». Он улыбнулся, пожал плечами. «Если тебе не жалко времени…» Мне ничего не было жалко для этого сказочного человека. Ощущение, что Саша не из настоящей жизни, а из какого-то странного, нездешнего, печально зачарованного карнавала Ватто, пробуждало во мне страх утраты: казалось, он может исчезнуть, испариться в иное пространство и время, где ему будет приютнее. Годы не сближают людей, это неправда, и если была дружеская близость, то она постепенно тощеет в усталости и разочаровании, но что-то от моей первой молодой очарованности Сашей сохранилось во мне навсегда.

Саше сопутствовала некоторая таинственность. Он не любил говорить о делах и обстоятельствах своей жизни. Об ином

человеке за рюмкой водки в первый же день такого узнаешь, что потом на весь век хватит. О Саше мы поначалу вообще ничего не знали. Какое-то время за его плечами маячила призрачная фронтовая студия, но с окончанием войны и она отлетела. Где он учился и учился ли вообще?.. Служил ли или был свободным художником?.. За ним не угадывалось детства, школы, он был человеком с Луны, сейчас бы сказали — инопланетянин. Затем как-то исподволь и чаще не от него самого стали поступать смутные сведения: он вроде был женат, когда мы познакомились, но сейчас то ли развелся, то ли разъехался с женой, как будто и ребенок есть. Отец у него хозяйственный работник: не то заместитель министра, не то завскладом, не то коммерческий директор завода; мать в консерватории, вроде не поет и не играет, а ведет концерты, по другим сведениям — администратор. Зато точно известно, что есть младший брат — студент операторского факультета ВГИКа.

Однажды мне срочно понадобился Саша в связи с повестью, которую я продолжал упоенно и обреченно писать, уже поняв, что реалистическая отмычка не сработает в мире тонких условностей. Саша сослался на плохое самочувствие и предложил навестить его. Дал адрес. Я был взволнован. Оказывается, в глубине сознания таилось представление, что Саша обитает на ветке.

Саша открыл мне, убедительно покашливая. В глубине квартиры плакал ребенок, никто его не утешал. Проходя мимо столовой (кажется, то была столовая), я увидел за непритворенной дверью детскую кроватку с сеткой и в ней младенца.

— Моя дочка, — ответил Саша на невысказанный вопрос странно рассеянным, отсутствующим голосом, как бы приглашающим не развивать эту тему.

Да я и не собирался. Я понятия не имею, чем надо восхищаться в личинке человека, не знаю никаких ату, тпруа, мням-мням и прочей людоедчины, младенцы не для меня. Теперь я понимаю, что сподобился мимолетно лицезреть нынешнюю Алену Архангельскую, энергичную хранительницу и устроительницу отцовой памяти и литературного наследства.

Однажды во время войны мы отправились большой компанией на «Тишинку». В ту пору этот давно ушедший в тень рынок играл выдающуюся роль в торговой и общественной жизни Москвы. Здесь сосредоточивалась вся частная купля-продажа столицы. Барахолка подавила жалкий продуктовый базарчик и торговала всем, чем можно и нельзя: от старой обуви, заношенного шмотья, солдатских шинелей до барских шуб, золотых колец и антиквариата, от балалайки без струн и

гармошки с порванными мехами до краснощековской семиструнной гитары и скрипки Страдивариуса, от старых трубастых граммофонов до арф, пистолетов «ТТ», орденов и поддельных документов, от фронтовых ушанок и ватников до архиерейских риз, брюссельских кружев и американских летных комбинезонов на меху, здесь можно было купить егерское белье, комплекты «Нивы» и «Синего журнала», балетные туфли, протез, бормашину, сто томов «Рокамболя», горжетку из крашеных крысиных шкурок, гипсовый бюст Сократа, набор дореволюционных порнографических карточек, романовский полушубок, салоп, елочные игрушки, левую сторону мужского костюма от «Журкевича», фарфоровый сервиз, качалку, пилу, колун, короче говоря — все. И все продать. И получить вместо денег «куколку» — ком старых газет, а бывало, и нож под ребро. Здесь играли в бессмертные рыночные игры: «три листика», «три камушка», «веревочку», буру и рулетку: кручу-верчу — деньгу плачу. Безногие инвалиды на колясках торговали рассыпным «Казбеком» и «Беломором», на них не было штанов, они мочились, задрав рубашки, чуть в сторону от своего разложенного на газете товара. Тут бродили громкоголосые пятновыводчики — древние, засаленные, неправдоподобно нахальные и бодрые старики.

В тот раз я наблюдал смешную сцену. Рекламируя свой очищающий товар, старик в картузе с высоченной тульей — он сбежал с картины Шагала — призывал окружающих дать ему самое страшное пятно: чернильное, жирное, сальное — и он его тут же выведет. К нему суетливо протолкался другой шагаловский старик с брюками-дипломат в руке. Пятновыводчик взял брюки и придирчиво осмотрел.

— Это не жир, не сало, не бог пятен, сатана пятен — чернила. — Он сделал эффектную паузу. — Это сперма!

— Не греши, — сказал владелец брюк. — Мне за восемьдесят.

— Значит, это не ваша сперма и вы перекупщик! — заклеймил его пятновыводчик.

Толпа грохнула, а оскорбленный заказчик, ругаясь и брызгая слюной, ринулся прочь.

Я тоже пошел дальше, мимо калек-папиросников, мимо сволочных казино, где цыганистые парнюги обирали заезжих лопухов, мимо несчастных испитых женщин, торговавших своим последним замученным достоянием, к тихому углу рынка, где нашла пристанище «модная лавка». На подходе к ней мордастые молодайки крикливо рекламировали новейший товар: грубо-добротные робы, плащи и комбинезоны из американских посылок частной помощи. Предназначались они рабочим, но, как

полагается, оказались в руках спекулянтов.

А потом — тишина: чистенькие старушки с букольками и осенней пожухлости дамы торговали кружевами, бисерными кошельками, перламутровыми театральными биноклями, страусовыми перьями, лайковыми перчатками. И эффектно над «бутоньерками осенних роз» высилась стройная фигура мужчины в элегантном пальто с поднятым воротником и красиво заломленной фетровой шляпе. Он стоял между траурной старухой, пытавшейся откупить хоть сколько-то стылой жизни за вытертую до мездры лисью горжетку, и сухощавой дамой со следами былой красоты и несколькими самодельными острогрудыми лифчиками на шее, изящно отставив ногу и округлив левую руку, через которую была переброшена дамская фисташковая комбинация.

— Ха, ха, — сказал Саша, увидев меня.

Этим он как бы уплатил дань очевидной растерянности человека, не ожидавшего увидеть на Тишинском рынке Дориана Грея.

В этом сказалось его самообладание и умение без потерь принимать уродливые неизбежности жизни. С тем же мужеством играл он в безнадежно выдохшемся театре, тачал про коня до кривизны ног, лепил для «Ленфильма» «проходные» сценарии, сочинял для эстрады и цирка. Он не выбирал себе подобных занятий, но если нельзя выжить иначе, он делал что требовалось, не растрачивая ни грана своей личности. В число смертных грехов эти поступки не входили, значит, нечего терзаться, дело житейское, не подлежащее каре Божьей. И разве плохо стоять тихим, дремлющим мартовским деньком среди пожилых интеллигентных женщин, кружев, страусовых перьев, вееров, шелков далеких лет, в этом блоковском наборе, и думать о новой пьесе, веря, что ты умеешь делать чудеса?

Мне ли перед ним задаваться! Угрызаясь и самоедничая, я халтурил в десять раз больше и грубее Саши, а если бездельничал на торжище, так лишь потому, что в зимнем ряду моя жена изнывала под тяжестью двух шуб из номенклатурного распределителя.

Я рассказал Саше о «перекупщике».

— Это гениально, — сказал он, — готовый номер.

А что такое «готовый номер», мы узнали тем же вечером, когда собрались в нашем доме обмыть не покупки, а продажу.

Первое место среди «торговых гостей» занимала моя теща, распродавшая через подставных лиц почти весь свой гардероб, подлежавший решительному обновлению. Дальше с большим отставанием шли моя жена, молодой искусствовед,

реализовавший полученное по ордеру демисезонное пальто, и старый философ, загнавший чернобурку жены и фотоаппарат «Зоркий». Саша сокрушался, что ему, жалкому лоточнику, не по чину гулять с первогильдейными. А потом изобразил сценку на Тишинском с «перекупщиком», украсив ее таким количеством сочных подробностей, что моя скудная информация стала искусством.

Меж тем попытка превратить «Улицу мальчиков» в шедевр социалистического реализма потерпела полное фиаско. Пока я пробирался проселками действительной жизни, дело как-то шло, но вот подступило то, ради чего писалась эта пьеса, и я безнадежно завяз. Я физически чувствовал, как окостеневали персонажи, до этого находившиеся в движении, в определенных отношениях друг с другом. Они онемели, лишились дара перемещения в пространстве, ослепли, оглохли, а там наступил и полный паралич. В хрупком мире условностей здравомыслию нечего делать. И я сдался.

Саша никогда не спрашивал, почему вдруг тема мальчиков, захотевших жить своим особым мирком, исчезла из нашего общения. Думается, он все знал заранее и был рад, что попытке с негодными средствами настал конец.

Как раз в это время человек в обмотках познакомил Сашу с Аней. Размундиренный боец-прожектор где-то случайно столкнулся с Аней, и она вспомнила, каким ослепительным кавалером был он в незабвенные вгиковские дни. Но дело, конечно, не в снобистской памяти, а в доброте, которая была основным качеством Аниной души, она смертельно зажалела бывшего лорда Бреммеля. Теперь у него всегда был постой и ночлег в Москве. Получив увольнительную, человек в обмотках ехал из Салтыковки прямо к Ане на Кропоткинскую, сбрасывал военную ветошь, надевал чистую, наглаженную Аней сорочку, прекрасный костюм, начищенные до блеска ботинки (обувь у него была грязной даже в золотые дни), с неподражаемым искусством повязывал бабочку, выпивал спирту, закусывал копченой уткой и обретал если не счастье, то покой и волю. Один из своих дивных пиджаков он подарил Ане, которой удивительно шли мужские вещи: куртки, пиджаки, плащи, шляпы (она всегда помнила, что любимая героиня нашей юности, очаровательная и шалавая Брег из «Фиесты», носила мужскую шляпу). Они куда-то шли. Всю войну в Москве работали рестораны «Арагви» и «Националь», был открыт коктейль-холл на улиц Горького. В одну из своих вылазок они наткнулись на Сашу. Человек в обмотках горделиво представил его Ане. Сашу затащили домой, угостили разведенным спиртом под дежурное блюдо. Он распустил

павлиний хвост. Воину пора было возвращаться в часть. Он переоделся, как всегда, неумело накрутил свои обмотки, напялил пилотку, так что звездочка оказалась над левым ухом, повязался ремнем, как кушаком, и отбыл — сперва в комендатуру на Ново-Басманной за порочащий Красную Армию вид и отсутствие противогаза — крайне необходимого в тот период войны, — а потом в часть.

Саша спохватился, что пора идти домой, когда время пере валило за полночь, а у него не было ночного пропуска. «Не беда, переночую в милиции, авось не привыкать», — сказал он с меланхолической улыбкой. Аня была не таким человеком, чтобы отпустить странника во тьму. Он остался и всю ночь читал ей стихи. Мандельштам доконал уже поддавшуюся душу.

Больше салтыковский воин копченой утки не едал. Для решительного объяснения Аня вышла к нему на улицу в «старомодном ветхом шушуне». Она прихватила с собой старый чемодан со всеми нарядами бывшего постояльца. Произошла тяжелая сцена. Аня без обиняков сказала ему, что любит Сашу. Он с не меньшей прямотой сказал, что любит ее. Аня, узнавшая наконец, что такое любовь, поняла, как ему сейчас плохо, и расплакалась от жалости. И он тоже расплакался, чего с ним на трезвую голову никогда не бывало. Потом он признался мне, что в этом потоке слез посчитал дело свое выигранным и был потрясен, когда, отплакавшись и высморкав нос, Аня железным голосом сказала, чтобы он не смел приходить. Дав от ворот поворот этому кавалеру, наша влюбчивая, легкомысленная Аня навсегда вошла в тот образ верной, преданной жены, от которого никогда не отдалялась, что бы ни вытворял муж. Впрочем, женой Саши ей еще предстояло стать.

А человек в обмотках снова оказался в комендатуре в тот роковой день, его взял патруль за подозрительно красное лицо, мокрые глаза и отсутствие противогаза.

Весной сорок пятого года решено было отпраздновать мой день рождения: как-никак четверть века жизни и пять лет окололитературной деятельности. Война стремительно шла к победе, настроение было повышенное, и мы назвали полный дом народа.

До этого я находился в долгой фронтовой командировке и ничего не знал о происшедших событиях. Меня поторопились проинформировать. Человек в обмотках был патетичен: у него разбито сердце, он никого так не любил, как Аню, и ни одна женщина не сможет заменить ее. Саша сказал просто: «Ты знаешь, мы теперь с Нюшкой». Так впервые прозвучало новое имя Ани, которое не легло мне на язык..

Аня сияла, сверкала, лучилась глазами, улыбкой, даже кожей, источавшей какой-то матовый свет, и не нужно было никаких приданий. Я сказал:

— «Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить…»

— «И печальна так и хороша темная звериная душа», — подхватила Аня. — У меня сейчас звериная душа. Я забыла все, чем жила, всех, с кем жила, словно и не было никакой жизни. А может, ее и правда не было?

Меня испугало ее счастье, такое откровенное, распахнутое, ничем не защищенное. Боги не любят, когда смертные становятся слишком беспечны, слишком доверяют судьбе.

Потом человек в обмотках увел Аню на кухню — для последнего объяснения. Тертый калач в какой-то необъяснимой слепоте ни за что не хотел признать очевидное. Он был эгоцентриком до мозга костей, ужасно жалел себя и не мог поверить, что Аня не разделяет этой жалости. Он надеялся на ее доброту, слабость перед чужой болью, согласен был и на брезгливую подачку: ей невыносимо станет видеть его перемазанную горем рожу, и она махнет рукой на Сашу. Гордостью, мужским самолюбием тут не пахло. Любовь сделала мягкую, податливую Аню железной. Из кухни он вышел с красными полубезумными глазами и весь долгий праздник пытался испортить людям настроение своим неопрятным страданием. Мне вспомнился платоновский инженер, который был так несчастен в любви, что пришлось его уничтожить, потому что люди не могли больше видеть таких мук. Здесь собрался народ повыносливей. Все же, когда он отбыл то ли в Салтыковку, то ли в комендатуру, по меньшей мере трое почувствовали облегчение: Аня, Саша и я как хозяин дома.

Памятуя о комендантском часе, гости разошлись в начале двенадцатого. Саша и Аня задержались, они словно забыли о времени. Далеко за полночь Саша спросил:

— Можно, мы останемся у вас?

— По-моему, вы уже это сделали.

Место было только в ванной комнате. Жена принесла две гладильные доски, тощий матрасик, белье. Ложе получилось довольно узким и твердым.

— Ложе ригориста, — заметил Саша, — хорошо хоть без гвоздей.

Утром за завтраком я спросил, как им спалось.

— Лучшая ночь в моей жизни, — улыбнулся Саша.

— И моей! — воскликнула Аня.

Они были так неподдельно счастливы, что я предложил жене спать отныне только на гладильных досках.

— Ничего у вас не выйдет, — сказал Саша.

— Почему?

— Вы ветераны. А у нас это была свадебная ночь.

Мы тепло поздравили молодоженов. Жена принесла шампанского.

Конечно, мне было интересно, зачем любящей паре понадобились ванна и гладильные доски, если у Ани стоит пустая квартира. Когда женщины пошли варить кофе на кухню, я спросил Сашу. Он сказал, что не может пробыть там больше минуты. Квартира населена любовью и муками человека в обмотках, и это дает нестерпимый эффект присутствия. Я засмеялся, Саша подхватил. Есть такое противное выражение: смехунчик в рот попал. Это случилось с нами, не могу понять почему. Разговор-то шел о грустном, а мы ржали как жеребцы. Очевидно, снимались какие-то напряжения. Но что-то в этом смехе насторожило меня. Его волны докатились до счастливого, безмерно, беззащитно счастливого лица и затопили его. Лицо пошло ко дну, не было на нем и следа счастья, лишь пустота и отчужденность смерти.

— У тебя это серьезно? — спросил я. — Я Аньку знаю как облупленную, у нее такого сроду не было. Если она сейчас обманется… Все. Конец. Прости, что я об этом говорю.

Он мгновенно стер смех с лица.

Так оно и сталось. Они поженились. Саша не давал Ане обет целомудрия, да она и не ждала от него никаких жертв. Саша был нужен ей такой, какой есть, а не украшенный чуждыми всей его сути добродетелями: верный муж, председатель общества трезвости, борец с никотином и другими наркотиками, примерный во всех отношениях гражданин. Ей был нужен блестящий, безудержный, неуправляемый, широкий, талантливый, непризнанный, нежный и в любых кренах жизни преданный человек, на которого она могла бы смотреть хоть чуточку снизу вверх. Ане нужен был не просто любимый, а любимый, которому можно поклоняться. Как бы ни складывалась их жизнь, а в ней было много всякого, как почти в каждой настоящей, не сусличьей жизни, — и семейные распри, и брань, что не виснет на вороту, и дым коромыслом, — но взгляд чуть снизу все равно оставался, ибо в главном, в Боговом, Саша никогда не ронял себя. То не был взгляд сброшенной с седла амазонки (такой может быть и свысока), а взгляд женщины, склонившейся перед уходящим на бой воином. И ведь близилось то время, когда каждый день Сашиной жизни станет боем с противником, неуязвимым, как Ахилл, столь же свирепым, но куда менее обаятельным.

Саша не позволял обстоятельствам брать верх над ним. Я редко встречал такое спокойное, не кичливое, вроде бы не сознающее себя мужество. Когда сталинский антисемитизм стал доминирующим цветом времени, он написал лучшую свою пьесу «Матросская Тишина» и, не в силах поставить ее на сцене, стал читать по домам. Читал он «Матросскую Тишину» и в нашей компании.

Нельзя сказать, что он нашел благодарную аудиторию. Прежде всего проблема пьесы никого кровно не затрагивала, а недостаток интеллигентности не позволял чувствовать чужую боль изгнанничества внутри собственной страны как свою боль. Похоже, Саша провидел в пьесе свою судьбу, хотя тогда ничего не говорило, что «инженю-драматик» сменится песнями гнева и печали. Впрочем, почему не говорило? «Матросская Тишина» по тем временам была опаснее вольнолюбивой гитары поры оттепели и застоя. Саша понимал это и хладнокровно шел читать в любое сборище, где его готовы были слушать. Аня восхищалась его бесстрашием, сама трусила, но не до омрачения. Она приучалась «жить с молнией».

В тот раз Саша зря потратил время, душу и артистический темперамент — вежливо-одобрительное мычание показало, что пьеса не дошла. И мои натужные критические рассуждения тоже были ни к чему Саше. Антон Рубинштейн говорил: творцу нужна похвала, и только похвала. Особенно творцу непризнанному или полупризнанному, каким был Рубинштейн-композитор, каким был Саша с его домашней славой.

Появились, как положено, водка, закуски. Хотели выпить за пьесу, Саша сказал: «Нет, нет, за дела не пьют!» Выпили за него. Кто-то попросил: «Старик, изобрази „пришел на копчик“». «Да, это больше подходит…» — пробормотал Саша и начал знаменитый, в зубах навязший монолог о циркаче-неудачнике…

Пьеса по-настоящему дошла до меня, когда я прочел ее в прекрасной книге Саши «Генеральная репетиция». А ведь он здорово умел писать прозу! Как жаль, что он пренебрег этим своим талантом. Может быть, отложил на старость, чтобы воплотить в воспоминания о бурно прожитой жизни? Но старости у него не было. Проводок сволочного суперновейшего проигрывателя пустил в его большое грузное тело несильный ток парижской сети — и остановилось истерзанное инфарктами, преследованиями и растущими дозами морфия сердце, немного не дотянувшее до того порога, за которым начинается старость. Горькая книга и мастерски построенная. Тут и в самом деле описана генеральная репетиция пьесы «Матросская Тишина» со всеми переживаниями автора, с надеждами, страхами — ведь

спектакль смотрят две сановные дамы, от которых зависит: быть или не быть. Внутрь этого описания поактно вложена пьеса — вся целиком. Происходящее на сцене и происходящее в зале взаимопроникают, образуя единый скрут боли. Напряжение достигает кульминации, когда в антракте чиновные дамы встают с непроницаемо-суровыми лицами и величественно выплывают из зала. Неужели они ушли, не досмотрев? Но ведь это смертный приговор спектаклю? Нет, дамы с тем же значительным видом возвращаются, они просто ходили в туалет. Но приговор — смертный — лишь отложен. Он будет вынесен в свой час.

Мечта философа Федорова оживить всех ушедших осуществляется сейчас в нашей литературе. Среди оживленных — Галич с его пьесой «Матросская Тишина», ставшей спектаклем. А чиновные театральные дамы помаленьку перемещаются из кабинетов-застенков в кооперативные туалеты, где им и место.

В этой книге замечательный конец. Гаснет свет в опустевшем зале, Галич прижимает к себе грустную поседевшую голову своей уже немолодой жены. Вот то, чего не отнимут, ка отнимают спектакли, фильмы, книги, успех, славу, заработки возможность видеть мир, молиться, петь, общаться с близким по духу, — единственное прибежище и спасение. Искреннее чистое, усталое, глубокое чувство вложено в финал этой печальной книги. Саша не ошибся, не переоценил своих душевных возможностей, когда, поднявшись с гладильных досок, сказал мне сильное слово «навсегда».

А вот бытовой пример Сашиной силы воли. В исходе войны, в середине апреля, мы гуляли у другого вгиковского воина, охранявшего западные подступы к Москве, — в Одинцове. Это был первый солнечный и голубой день пасмурной, хоть и не студеной весны, и мы решили осушить предобеденную чарку на давно уже вскрывшейся речке. Пришли, увидели блескующую веселую воду, и кто-то сказал, что не грех бы искупаться, смыть грехи перед большим истовым застольем. Все мужчины хвастливо поддержали предложение, но легко дали отговорить себя разволновавшимся женам. Пока мы ломались и кочевряжились, изображая мужскую снисходительность к слабостям боязливых женщин, Саша неторопливо разделся до трусов. Моя жена спросила Аню:

— Это серьезно? Он что — с ума сошел?

— Если Саша что решил, его не собьешь, — с вымученной улыбкой отозвалась Аня.

— Ах, робята вы, робята! — сказал Саша. — Такого удовольствия себя лишаете.

Он медленно вошел в ледяную воду, чуть постоял и нырнул.

Прошел под водой метров пять-шесть и стал отмахивать саженками. Он переплыл на тот берег, посидел на купающихся в воде голых ветвях ивы, снова нырнул.

Он плавал еще минут десять, не отзываясь на наши подло-благоразумные призывы: «Выходи!.. Довольно форсить!.. Что за ребячество!.. Ты простудишься!.. Ладно тебе, геройствовать, нашел чем удивить!..» Нам стало стыдно, но никакой стыд не мог загнать нас в ошпаривающе-ледяную воду.

— Он что — морж? — спросил кто-то Аню.

— Какой там морж! Он в ванну, если меньше сорока, не полезет.

Да, не полезет. Но здесь был брошен вызов, и он единственный, кто его принял. Главное даже не в том, что он заставил себя выкупаться, а в том, как он это сделал. Спокойно улыбаясь, не дрогнув ни единой жилочкой, даже без гусиной кожи, что вовсе загадочно, не торопясь, до конца сохраняя такой вид, будто это ему в привычку и в удовольствие.

Выйдя наконец из воды, он не спешил одеться, говоря, что надо сперва обсохнуть. Так же не спеша выпил стопку водки, крякнул: «Эх, хороша!» — и пошел в ивняк, чтобы выжать трусы и одеться.

Должен сказать два слова в защиту вгиковских рекрутов. Не всех их задержал Московский военный округ, остальные попали на фронт. Один благополучно довоевал до конца войны и так полюбился властям, что те решили не расставаться с ним. Ему очень пригодились солдатский ватник и справные кирзовые сапоги в дальнейших долгих странствиях. Другому оторвало руку, за ненадобностью его отпустили. Со временем он стал видным деятелем белорусской кинематографии. Воевали и другие, я не знаю их судеб, знаю лишь, что все они вернулись.

Видел я Сашино мужество и иного рода. Мы проводили лето в Алуште. Я приехал туда по Сашиному зову. Почему он выбрал это самое скучное и непоэтичное место на всем крымском побережье, не помню. Аня и Саша жили в маленькой и дружной московской колонии, облюбовавшей тихий край городка. Хотя это место находилось в стороне от алуштинского променада, сюда каждый вечер наведывались комсомольские патрули и заставляли игравших в волейбол женщин надевать поверх сарафанов баски. Голые плечи считались неприличными.

— Вы не на пляже, — говорил двадцатилетний белобрысый и красноглазый альбинос, капитан комсомольской полиции нравов.

— Но это же спорт! — бессильно возражали мы.

— Спортом занимаются на стадионе, а здесь открытое место. Потрудитесь соблюдать приличия.

— Вот не знали, что русский сарафан неприличен. Это же национальная одежда. Его наши бабушки носили.

— Не умничайте, если не хотите в милицию.

— За что? — спросил Саша. — За ум или за сарафан?

Парень посмотрел на Сашу, и его белые, в красном обводе, глаза налились ядовитой желтью ненависти.

— У вашей жены, гражданин, национальная одежда не сарафан, а котиковая шуба.

— Вы ошибаетесь, — улыбнулся Саша. — Моя жена русская. А у вас есть зачатки мышления. Почему вы не развиваете их? Зачем вы мотаетесь по жаре и мешаете людям жить? Кстати, вы знаете, что женщины под сарафаном голые? Да, да, совсем голые, даже без фигового листа. Снимите с них мысленно сарафан, что вы там видите? Ай-яй-яй, а еще комсомолец!..

С раскаленным злым лицом парень повернулся и пошел прочь.

Любопытно, что это идиотское ханжество и прочие крымские «бетизы», как говаривал Лесков, обязаны своим появлением визиту Сталина в Крым. Ему не понравились кипарисы за их траурность, курортницы — за легкомысленный вид. И пали под топорами и пилами прекрасные старые деревья, а стыдливая комсомольская юность взяла на себя заботу, чтобы ни один лишний сантиметр загорелого женского тела не оскорблял целомудренного взгляда.

Но я не к тому вспомнил Алушту. В дни, когда мы безмятежно резвились под присмотром комсомольских патрулей, в «Правде» появилась разгромная статья о спектакле Театра Сатиры по новой пьесе Галича, написанной в соавторстве. Еще шел с неубывающим успехом «Вас вызывает Таймыр», ожидалось, что и новый спектакль на гребне этого успеха принесет театру битковые сборы и славу. Так поначалу и шло, и вдруг — мощный залп из всех бортовых орудий. Мнение «Правды» было в ту пору непререкаемым, каждое критическое, слово звучало как приговор к высшей мере. И что-то загадочное было в этой статье: стрельба из пушек по воробьям, мрачно-безжалостный, предельно грубый тон, будто речь шла не о легкой, непритязательной комедии — о сотрясении государственных основ, и все это — при совершенной бездоказательности разносного текста. Невинные и довольно беззубые шутки персонажей преподносились как угроза общественному вкусу, традиционная комедийная путаница трактовалась как попытка дезориентировать советских людей перед лицом капиталистической опасности. Из статьи становилось ясно: если порочная пьеса останется в репертуаре, то нечего и думать о построении коммунизма.

Словом, то был сталинский маразм на высшем уровне, когда отбрасываются все моральные запреты, приличие, вежливость, дневной разум и чувство реальности. И на что потрачен весь этот неимоверный боевой арсенал? На уничтожение милой театральной шутки. Лев Толстой меньше напрягался, ниспровергая Шекспира. Но там гигант борол гиганта, здесь же на кусочек пастилы накинулась раздувшаяся в железную свинью мышь.

Мы были подавлены, тем паче что в нарочитой грубости статьи, ее житейской неоправданности проглядывала та мрачная и таинственная воля, которая никак не хотела дать передохнуть несчастному, истомленному войной народу, измышляя для него все новые муки. Статья, несомненно, была инспирирована сверху. Так оно и оказалось. Пришла очередь творческой интеллигенции (с упором на еврейскую ее часть) двинуться на Голгофу. Впрочем, излишней щепетильности не проявляли, на позорище мог быть выставлен и русский (хотя бы Малюгин). Сейчас был брошен пробный камень. Один из наших друзей, деливший с нами алуштинские утехи и дни, Н. Мельников, искренне сочувствовавший Саше, не знал, что окажется Иоанном Предтечей космополитизма. С разгрома его талантливой повести «Редакция» начнется та долгая и зловещая кампания, которая увенчает терновым венцом одних и позорными лаврами других…

Саша появился на пляже ближе к обеду, по обыкновению подтянутый, выбритый, элегантный и улыбающийся. У меня даже мелькнула мысль, что он не видел газеты.

— Ну как ты, старик?

— А что? Тачал с утра… Ах, ты об этом!.. Ничего. Надел чистую рубашечку, погладил брюки — и сюда.

Я смотрел на Сашу. То, что произошло, не было локальной неудачей. Совершенно очевидно, что ему опять перекрыли кислород. Хорошо, если «Таймыр» не снимут. Год с небольшим длилась его удача. Не говоря уже о том, что рухнули надежды на хороший заработок, больше ста театров собирались ставить его пьесу, теперь об этом не может быть и речи. И тоска проработки, когда настырно, тупо, зло, бессмысленно будет склоняться твоя фамилия, чтобы вся литературная шушера могла лишний раз расписаться в своих верноподданнических чувствах, когда мелкое (к тому же липовое) литературное прегрешение вырастет до размеров стихийного бедствия. Словом, скука зеленая, безнадега, и никто не скажет, когда ты опять выползешь на свет Божий, да и выползешь ли? А Саша держался так, будто ничего не случилось. Впрочем, «держался» плохое слово, в нем проглядывает искусственность, тягота усилия, а Саша был естествен, свободен,

ничуть не напряжен. Вот так же не дрогнул он в ледяной воде, так же принял глухоту друзей, которым читал свою заветную пьесу, так же вышел недавно с заседания секретариата СП, вновь не принявшего его в Союз писателей. Его нельзя было согнуть. Крепкой человеческой сталью называл таких людей Александр Грин. Явилась Аня с припухшими глазами, но шутила, смеялась и напомнила, что вечером идем в кафе. Мы-то малодушно решили, что поход отменяется по причине траура. В кафе мы засиделись допоздна. Когда все посетители ушли, мы с благословения заведующей сдвинули столики, заказали еще напитков, раскрыли старенькое пианино, и Саша закатил грандиозный концерт. Он спел «Маму» и все другие свои песни, не получившие столь широкого признания, репертуар Вертинского, Лещенко, Морфесси, жестокие романсы. А пили мы пиво пополам с ситро, Саша называл напиток «панаше», и закусывали печеньем, которое называлось «курабье». В конце вечера Саша исполнил романс-экспромт о брошенной девушке. Кончался романс на рыдающей ноте:

Все былое развеялось прахом,
А на сердце у ней курабье.

А какое курабье было на сердце самого певца, у которого одним нагло-воровским выпадом отняли успех, деньги, надежду на спокойную жизнь и работу?..

И вот еще на тему Сашиного мужества. Он очень часто бывал в нашем доме, порой с ночевкой, и, верно, ему захотелось отплатить за гостеприимство. Он решил отпраздновать свой день рождения и пригласил всю честную компанию, состоявшую сплошь из его почитателей. Так, во всяком случае, считалось. Через много, много лет, вернувшись из Парижа, я сказал одному из тогдашнего дружеского круга, что ходил на Сашину могилу. Этот человек был едва ли не самым горячим поклонником Саши, он пел под него и не без успеха подражал его устным рассказам, одевался «под Сашу», коверкал язык под Сашу: «Ах, робята вы, робята!» А сейчас: «Да?..» — бросил он рассеянно. «Тебя это не волнует?» — «Нет. Ты же знаешь, я никогда не разделял ваших восторгов». — «Я помню прямо противоположное». — «У тебя плохая память», — сказал он, спокойно и прямо глядя мне в глаза. Его недавно избрали секретарем партийной организации института, где он заведовал кафедрой. Все, я в том числе, считали его отличным малым. Он не стучал, не предавал, не делал гадостей, просто умел, когда надо, наступить на свое вчерашнее сердце.

Но в описываемую пору Галич, которого надо бояться, Галич, от которого надо открещиваться, еще не существовал, и все охотно приняли его приглашение. Саша был на редкость мил и любезен в качестве хозяина. Мы познакомились с его матерью — величественной дамой с прекрасно уложенной бронзово-рыжеватой головой (так мне, во всяком случае, запомнилось) и низким, глубоким голосом. Она работала концертным администратором в филармонии и, похоже, очень ценила свой пост. Отца дома не оказалось. Он вообще был фигурой несколько эфемерной. Когда о нем заговаривали, Саша уплывал в таинственные горние выси и возвращался назад не раньше, чем тема давшего ему жизнь затухала. С появлением Ани невидимка чуть обрисовался. Оказывается, он был маленький, лысый, ушастый и чем-то заведовал. «Трудно поверить, — говорила Аня, — что это Сашин отец. Уж больно простоват. Он вообще не монтируется с остальной семьей». В какой-то момент он и сам понял это и ушел. Попытка зажить другой, более простой жизнью не удалась. Он уже был отравлен сладким ядом культуры. Он вернулся.

День рождения Саши проходил томительно. И не сказать было, откуда взялась эта томительность, все вроде разворачивалось по обычному сценарию, только Саша обошелся без положенного выпадения в освежающий сон, что можно было только приветствовать. И Сашина мать была гостеприимна, и брат Валерий симпатичен, как всегда.

Если бы Саша не пел так много и охотно, мы долго бы не выдержали. По дороге к дому — нам всем было по пути — мы тщетно пытались понять, что нам мешало. Квартира мрачная, говорил один, тяжелая мебель, тусклый свет. А мне кажется, возражал другой, Сашина мать была не в восторге от нашего визита. Она, как все матери, считает, что Сашу спаивают друзья. Валерий был какой-то напряженный, высказывал свои соображения третий. И ушел рано, почти демонстративно. Мы сами виноваты, самокритично прикидывал четвертый, не нашли правильного тона. Как-то уж очень по-свойски стали себя вести…

Через некоторое время мы узнали, что в канун Сашиного дня рождения арестовали его отца. Саше не хотелось ни говорить нам об этом, ни придумывать фальшивую причину для отмены праздника. Он выбрал путь самый трудный для любого человека, кроме него: делать вид, будто ничего не случилось. Это ему вполне удалось, но ни мать, ни брат не обладали его выдержкой. И, как ни старались, от них веяло неблагополучием…

Сашин отец не был «политическим», то есть не обвинялся ложно по 58-й статье. Он шел по какой-то хозяйственной статье,

тоже ложной, судя по тому, что вскоре его выпустили.

И последнее — на тему Сашиного мужества. Не помню, в каком году Саша начал колоться, Знаю, что это случилось после тяжелейшего инфаркта, когда не было уверенности, что он выкарабкается. Или же после второго инфаркта, последовавшего вскоре за первым. И тогда Саша подсчитал, что ему осталось жить самое большее семь лет. А потом инфаркты зачастили воистину с пулеметной быстротой. Будь это действительно инфаркты, Саша получил бы почетное место в Книге Гиннесса как мировой рекордсмен. На моей памяти их было не меньше двух десятков.

Но близкий Саше человек сказал (я уже понял это без него), что жестокие сердечные инциденты, кидавшие Сашу в постель и щедро выдаваемые за инфаркты, случались от резкого повышения дозы морфия. А он делал это всякий раз, когда привычная доза переставала действовать. К морфию же он пристрастился во время своих настоящих инфарктов, сопровождавшихся ужасными болями, которые иначе невозможно было снять.

Однажды в Ленинграде он сделал себе укол и занес инфекцию. Страшнейшее заражение крови. В больнице врачи настаивали на ампутации руки, иначе не ручались за его жизнь. Он наотрез отказался. Уже звучала на всю страну его гитара и лилась главная песнь. Из Москвы вызвали Аню. Она на коленях умоляла согласиться на операцию. В больницу пришли Сашины друзья, они плакали и просили Сашу остаться жить. Саша — черное лицо, выпадающие из орбит глаза — выборматывал с ужасной улыбкой:

— Вы видели безрукого гитариста?

Аня кричала, что покончит с собой, если он умрет.

Саша уверял, что вовсе не ставит себе целью умереть, но жить согласен лишь в полном комплекте. «И он все улыбался, сволочь такая!» — рассказывала после Аня с яростью и восторгом. Случилось непонятное врачам и противное природе — человеческое упрямство победило.

Я предчувствую взрыв читательского ханжества. Какой же он сильный человек, если не мог побороть пристрастия к наркотикам? А он и не собирался, как и Высоцкий, который в последние годы жизни тоже начал колоться. Их это не ослабляло, а усиливало в той борьбе, которую вела против них всесильная власть. У власти была одна цель: заткнуть им рты, а они пели, пели вопреки всему. Им перекрыли все краны: не давали площадок, не пускали ни на радио, ни на телевидение, ни в печать, ни пластинок их не было, ни кассет, а они умудрялись быть услышанными по всей стране, да что там — по всему миру. Какой душевной силой, каким мужеством, смелостью и верностью

своему избранничеству надо обладать, чтобы выстоять против чудовищной машины насилия и уничтожения! Но иногда иссякали внутренние ресурсы, металл ведь тоже устает, а человеческое сердце не из металла, и они давали себе перевести дыхание, отключиться — уколом в вену, чтобы затем снова в бой. Гитара и губы против железного хряка бездушия. И казалось, хряк победил: сжевал Высоцкого, а Галича отрыгнул в изгнанничество и гибель. Ан нет, песни остались, победа за певцами.

Пусть их судит лишь тот, кто сам способен поставить жизнь на кон ради правды и чести, а не добродетельные и законопослушные холуи власти.

И вдруг мне вспомнился совсем иной пример Сашиного самообладания. Эту историю я слышал от трех ее участников: Саши, Ани и Дамы, их версии совпадали. Дело было в Дубултах, в доме отдыха, в каком году — не помню, но знаю, что уже минуло много нелегкой и разной жизни. Можно сказать так: на заре туманной старости, когда люди, знающие, что им до конца оставаться в одной упряжке, начинают многое прощать друг другу. Саша сообщил Ане, что хочет совершить большую прогулку по берегу, в сторону заката солнца, в компании с одной из отдыхающих. «Я давно не обращаю внимания на Сашины шашни, — рассказывала мне Аня, — но тут я обозлилась. Девка была как-то противно похожа на меня. Будь она совсем другой: „незнакомка“, или рубенсовское тесто, или ренуаровский рыжик, или „куда ни тронь, везде огонь“, я бы слова не сказала, он правда застоялся, но тут — какого черта? Доска — два соска. Зачем тебе навынос, когда можно распивочно. Я могла бы увязаться за ними, но болят ноги и собралась компания для „разбойничка“». Аня придумала другой хитроумный план. Едва романтическая пара двинулась вдоль белой нитки прибоя, как с балкона послышался отчаянный крик:

— Саша!

— Что, Нюшка?

— Ты взял валидол?

Он похлопал себя по нагрудному карману.

— Взял!

— А нитроглицерин взял?

— Хватит валидола.

— Нет, нет! Без «нитры» я тебя не пущу.

Аня сбежала вниз и протянула Даме стеклянную капсулу с нитроглицерином.

— Если ему будет плохо, дайте две крупинки.

— Хорошо, — сказала Дама и положила лекарство в сумочку.

— Гемитон у тебя есть?

— Зачем еще?

— А если подскочит давление?

— Что за чепуха!

— Ничего не чепуха. Ждите!

Аня сбегала в номер и принесла набор лекарств: от давления, от аритмии, от желудочных колик, бруфен (если схватит поясницу), спазмалгин и пантокрин. Все это она передала Даме с подробными наставлениями, при каких обстоятельствах и как эти лекарства давать.

«Мой расчет был не на Сашу, ты же знаешь его хладнокровие, — говорила Аня, — хотя тут дрогнул бы и каменный Голем, а на Даму. Кому захочется идти с таким ненадежным кавалером. Я недооценила ее. Она выслушала все спокойно, кое-что уточнила, а потом сказала:

— Нюша, дайте еще клистир и ночной горшок, и поскорей, не то мы пропустим закат.

Перед такой выдержкой я спасовала.

— Ладно, идите на… закат. Если у него будет эпилептический припадок, смотрите, чтобы не проглотил язык.

— У меня не проглотит, — сказала Дама.

И они ушли на закат, а я утешилась „разбойничком“. Мне здорово везло в тот вечер».

Не стоит только думать, что в семейной жизни все шишки валились на одну Аню, что она была страстотерпицей, а Саша — беспечным гулякой. Каждому выпала своя ноша, и трудно сказать, чья оказалась тяжелее. Анина нервность, почти неощутимая в юности и лишь изредка смещавшая ее легкие черты в зрелости, в ходе лет обострилась. А сгущавшиеся над Сашиной головой тучи усиливали ее беспокойство, которое надо было скрывать. Она жила в постоянной тревоге и страхе. Никакие успокоительные не действовали, и Аня стала искать забвения там, где его от века ищут и находят русские люди. Аня, которая без содрогания не могла смотреть на пьющего человека. Это бестелесное существо выбрало самый неподходящий к его эльфической структуре напиток: пиво — и загружалось им, как бравый солдат Швейк «У чаши». Опьянение от пива медленное и тяжелое, все клетки тела налиты жидкостью. Все же разрушение психики опережало телесную деформацию, и только к моменту вынужденного отъезда изысканная Аня воплотилась в цельный, законченный образ грузной, неуклюжей скандальной бабы с кирпичной, грубой кожей.

Саша воистину «ни единой долькой не отдалялся от лица», всегда был на высоте и дрогнул лишь в день своего вынужденного отъезда, когда Аня во дворе нашего общего дома устроила

истерику, не хотела садиться в машину, кричала, плакала. Он не сдержал себя и впервые, с мучительно перекошенным лицом, наорал на нее. Но я не уверен, был ли то настоящий срыв или необходимая лечебная мера, чтобы привести ее в сознание, пробиться сквозь защитную корку полубезумия-полувздора сорвавшейся с петель души. В «Цитадели» Кронина молодой врач в сходной ситуации отхлестывает по щекам зашедшуюся в приступе истеричку, чем и приводит ее в чувство. Саша обошелся без силового метода. Аня позволила усадить себя в машину и даже улыбнулась провожавшим. Много народа, презрев пугливую осмотрительность, высыпало во двор. С нашего унылого, никогда не озаряемого солнцем двора и начался страдальческий путь этих людей, приведший их довольно скоро к «полной гибели всерьез».

Оставить родину никому не легко, но никто, наверное, не уезжал так тяжело и надрывно, как Галич. На это были особые причины. Создавая свои горькие русские песни, Саша сросся с русским народом, с его бедой, смирением, непротивленчеством, всепрощением и естественно пришел к православию. Он ни от чего не отрекался, ибо ничего не имел, будучи чужд иудаизма, но ему необходим был этот смешной и несовременный в глазах дураков акт, исполненный глубокого душевного и символического смысла. Он не думал, да и не мог ничего выгадать этим у русского народа (известно: жид крещеный что вор прощеный), за беззаветную службу которому поплатился потерей своей русской родины.

Саша стал тепло верующим человеком. И я не понимаю, почему хорошие переделкинские люди смеялись над ним, когда на светлый Христов праздник он шел в церковь с белым чистым узелком в руке освятить кулич и пасху. Свою искренность он подтвердил Голгофой исхода.

Анино отчаяние было проще. Она боялась за себя. Она оставляла мать, дочь, не захотевшую ехать с ними, друзей, квартиру и налаженный быт, дающие некоторую гарантию прочности, и, больная, запойная, отправлялась в никуда с человеком хотя и любимым, и преданным, но ненадежным ни в смысле здоровья, ни в смысле страстей.

Может, стоит досказать здесь историю изгнанников. Аня не обманулась в своих худших опасениях. После тихой (весьма относительно тихой, поскольку Аня уже познакомилась с клиникой) жизни в Норвегии они подались в Париж. Туда же последовала новая мюнхенская влюбленность Саши — мужняя жена, о которой я слышал два взаимоисключающих мнения: одно трогательно-рождественское, в духе байки о замерзающем у озаренных праздником барских окон маленьком нищем, другое —

уничтожающее. Аня же застарожилилась в психиатрической больнице. Очень дорогой и комфортной — Саше пришлось подналечь на работу, чтобы содержать там Аню, — но все же и в минуты просветления не дающей радости существования. Ужасная и горестная жизнь, что там говорить. Саша разрывался между работой, концертами, бедной возлюбленной — мюнхенский муж громогласно объявил, что едет в Париж иступить хорошо наточенный резак: он был мясником по роду занятий и уголовником по той тьме, что заменяла ему душу. И на все это путаное, тягостное существование накладывалась гнетущая тоска по России, неотвязная, как зубная боль.

Он свободно пел свои песни, печатал стихи, был признан, уважаем, любим, знал, что и дома его помнят, но ни один человек из тех, кого я расспрашивал о Саше, не сказал мне, что он был счастлив, весел, хотя бы покоен. Конечно, его угнетали Анина болезнь и вся нелепость обстоятельств, но главное было в том, что Саша не мог и не хотел перерезать пуповину, связывающую его с родиной. А это единственный способ смириться с жизнью в изгнании. Я не видел таких, кто бы вовсе не скучал по России, но видел многих, кто склонен был преувеличивать свои изгнаннические муки, это тоже входит в эмигрантский комплекс. Саша ничего не преувеличивал, не угнетал окружающих подавленностью, не жаловался, молчал и улыбался, но в стихах звучала лютая тоска.

Зигмунд Фрейд отвергал случайность в человеческом поведении: оговорки, обмолвки, неловкие жесты, — спотыкания, он считал, что все детерминировано и перечисленное выше — проговоры подсознания. «Ты зачем ушиб локоть?» — спрашивал он ревущего от боли малыша, и выяснялось, что тот в чем-то проштрафился и сам себя наказал, ничуть, разумеется, об этом не догадываясь. «Зачем ты поскользнулась?» — допытывался он у дочери, и выяснялось, что девочка тайком полакомилась вишневым вареньем. Если б можно было спросить Сашу: «Зачем ты коснулся обнаженного проводка проигрывателя?» — ответ был бы один: так легко развязывались все узлы. Сознание человека — островершек айсберга, который скрыт в темной глубине. О подводную массу айсберга разбился «Титаник». Все главное и роковое в нас творится в подсознании. Я уверен, оттуда последовал неслышный приказ красивой длиннопалой Сашиной руке: схватись за смерть. И никто не убедит меня в противном.

Когда я был в Париже в 1978 году, вскоре после Сашиной гибели, то поехал в Сент-Женевьев-де-Буа проведать его могилу. Я долго мыкался по этому не слишком большому, но какому-то путаному кладбищу, где среди скромных крестов безвестных

русских людей, умерших на чужбине, высятся пышные надгробья героев Белого движения, неизменно выходя к странному, вроде бы мальтийскому кресту на могиле Бунина, к бедным плитам Мережковского и Гиппиус. Никто не мог показать мне еще свежего Сашиного захоронения. Наконец какой-то дед, подновлявший дерн на запущенной могиле, согласился проводить меня за небольшую мзду. Он привел меня, взял деньги и повернул назад. Старое, облупившееся, оштукатуренное по камню надгробье сохранило полустершиеся буквы незнакомого женского имени. Я долго его помнил, а сейчас забыл.

— Дедушка! — окликнул я старика, он был русский. — Это не та могила. Здесь какая-то женщина лежит.

— Недолго ей тут лежать, — отозвался старик. — Скоро ее выселят, и Галич ваш один останется.

Оказывается, в связи с перенаселением кладбища покойников из забытых могил стали вывозить в другие места упокоения. Место на кладбище не покупается раз и навсегда, за могилу надо постоянно платить. Аня хотела похоронить Сашу только на Сент-Женевьев-де-Буа, она подкупила сторожа, и тот подселил Сашу в чужую смертную квартиру. Я отыскал маленькую дощечку: «Александр Аркадьевич Галич». Вот ирония судьбы: и посмертно Аня вынуждена оставлять Сашу с другой дамой.

Вся дорожка возле могилы была закидана лепестками анютиных глазок, они лежали словно мертвые бабочки, бархатистые фиолетовые, желтые, синие, коричневые. На могиле цвели свежие розы и торчали обезглавленные короткие стебельки анютиных глазок. Я догадался, что тут произошло: Аня пришла на могилу, обнаружила бедные цветы, посаженные соперницей, и все их пообрывала.

Остается сказать о судьбе Ани. Конец ее был нелеп и ужасен. После смерти Саши она бросила пить, очень подтянулась, стала заниматься общественной деятельностью, литературным наследством мужа. Затем пришла весть о скоропостижной смерти ее дочери Гали. Известие ее потрясло. Аня «развязала». А тут, как на грех, приехала старая приятельница и бывшая собутыльница. Аня высоко зажгла свой костер. Однажды она заснула с непогашенной сигаретой в руке. Затлело ватное одеяло. Аня почти не обгорела, она задохнулась во сне.

Так бездарно кончилось то, что началось молодо и счастливо на гладильных досках в доме по улице Горького. А Саша вернулся в свою страну, в свою Москву, как и предсказывал, вернулся песнями, стихами, пьесами, фильмами, вернулся легендой, восторгом одних и кислой злобой других, вернулся громко, открыто, уверенно, как победитель.

Но все это потом, а тогда, в те неправдоподобно далекие годы, была своя жизнь, какая-никакая, а была. И порой она казалась нам прекрасной. Саша обладал удивительным даром создавать из всего праздник. Качество, начисто отсутствующее у меня и потому особенно мною ценимое. Я умел или запойно работать, или вусмерть гулять. Я говорю о той поре, когда изживалась сильно затянувшаяся юность. До войны для меня главным был спорт, к исходу пятидесятых появилось два мощных увлечения: охота и рыбалка. А вот после войны до мартовской встряски пятьдесят третьего я умел лишь менять рабочий стол на пиршественный. В свободное время запойно читал и порой вовсе забывал, что происходит за окнами. И тогда возникал Саша с каким-нибудь простым, но ошарашивающим меня предложением.

Звонок.

— Юрушка, ты когда последний раз был в бане?

— В поезде-бане с вошебойкой я был в октябре сорок второго, в Малой Вишере.

— Нет, в настоящей бане. В Сандунах или Центральных.

— В Сандунах я сроду не был, а в Центральных — когда мне было шесть лет. В женском отделении, с мамой и Вероней.

— Я приглашаю тебя в мужское отделение. Пойдем в Центральные, там хороший бассейн. Ты паришься?

— Нет.

— Ладно. Обойдемся без парилки. С нами будет мой старый друг. Смешной и милый парень. Не возражаешь?

Мы встретились у главного входа в бани. Саша разговаривал с грузноватым и рыхловатым человеком, приметно старше нас, с шапкой курчавых волос, большим лицом и редкими, неровными зубами. Последнее сразу бросилось в глаза, потому что человек этот все время смеялся, картинно смеялся, на публику, что мне резко не понравилось. Мог ли я думать, что Саша делает мне свой лучший подарок: этот заливающийся показным хохотом человек станет одним из самых дорогих мои друзей и неизбывной болью, когда уйдет до срока.

— Драгунский! — гаркнул курчавый озорник, объявив свое имя не только мне, но и всему Театральному проезду.

— Как, неужели вы обо мне не слышали? — удивился он моей слишком спокойной реакции на столь шумное имя. — Я самый знаменитый московский бродяга.

— Ладно тебе, — улыбнулся Саша, — есть и познаменитей.

— Это кто же? — вскинулся тот. — Скажи в любой компании: Виктор, и сразу добавят: Драгунский.

— А правда, что каждый Виктор мнит себя Гюго? — спросил я.

— Не больше, чем каждый Вальтер — Скоттом, — немедленно отпарировал он. — Не поймаете. Это старая шутка Хлебникова.

— «Но дней минувших анекдоты!..» — с пафосом продекламировал Саша.

— «От Ромула до наших дней хранил он в памяти своей», — подхватил Драгунский.

— Чем он занимается? — спросил я Сашу, когда Драгунский отошел купить билеты..

— Актер. Работал в «Сатире». Сейчас в цирке. Коверным. И вроде бы снимается у Ромма.

Потом я высчитал, что как раз в эту пору Драгунский задумал свою «Синюю птичку», неожиданную и необыкновенно талантливую поначалу, когда она была капустником, и неуклонно тускнеющую с получением официального статуса театра. Пока Драгунский просто резвился, реализуя свои многочисленные таланты: драматурга, режиссера и актера, его спектакли напоминали, по выражению Олеши, кипящий суп. А потом к нему протянулись щупальца Главреперткома, всевозможных инстанций, управлений, а против этого бессилен любой талант. Теперь требовалось тупое и однообразное разоблачение маршала Тито, бенилюксов и плана Маршалла — очарование ушло. Но довольно долго «Синяя птичка» была единственным ярким пятном на серости будней.

Драгунский без умолку говорил. Мне запомнилась грустная история циркача на призывном пункте. Когда его спросили, какая у него воинская специальность, циркач ответил: движущаяся мишень.

Мы еще не знали, что каждому из нас в какой-то период жизни можно будет так же определить свою не воинскую, а гражданскую специальность. Но в полной мере движущейся мишенью окажется Саша. По нему гвоздили из всех калибров за песни, расстреляли — до взлета — его лучшие сценарии и, наконец, дружным залпом прикончили человека с гитарой.

В бане мне был преподан урок, как надо наслаждаться жизнью. В первый и в последний раз воспользовался я услугами банщика: костлявого могучего старика в набедренной повязке, с белотрупными руками, железной хваткой и разбойной серьгой в ухе. Он сломал мне все суставы, растоптал мою плоть, потом взбил. Как сливки. Отдышавшись, я узнал благо нагретой простынки и ледяного пива с красными от стыда за человека, бросающего живое в кипяток, хрусткими раками.

Завернувшись в простыню, я выстоял маленькую очередь в парикмахерскую, находившуюся тут же при раздевалке. Я все

время боялся, что простыня соскользнет, а бывалые Драгунский и Саша держались со свободным достоинством римских патрициев на форуме, их простыни казались тогами. Помню, бегавшая то и дело к телефону хорошенькая парикмахерша вдруг круто осадила и принялась разглядывать Драгунского и Сашу, морща узкий лобик трудной, ускользающей мыслью.

— Братья? — спросила она радостно.

— Ага! — столь же радостно подтвердил Драгунский.

— Как непохожи! — сказала она с недовольной гримасой.

«Люблю маленькие загадки жизни, — говорил позже Саша. — Ее вопрос мог возникнуть только из ощущения сходства, хотя между нами ничего общего. Что происходило в ее маленьком мозгу, упрятанном под перманент? Мы никогда этого не узнаем. А ведь там творилась сложнейшая работа наблюдения, умозаключений, открытия и внезапного разрушающего прозрения».

— Рассуждения в духе Панурга, — заметил Драгунский. Такое же велеречие и пустота. Давайте лучше выпьем. Пошли «Арагви».

— Если хочешь получить хороший карский, — назидательно сказал Саша, — надо идти не в «Арагви», а в шашлычную рядом с бывшим «Великим немым».

Это было характерно для Саши: он всегда знал, куда над идти, если хочешь, чтоб было хорошо.

За корейкой — нам порекомендовал ее официант — мы вспоминали баню, и тут я с грустью обнаружил, что мы побывали словно бы в разных местах. У них было куда интереснее. Они вспоминали множество подробностей, начисто от меня ускользнувших. Оказывается, там все время происходило что-то занятное, смешное или глупое. В этот цирк вносили свою лепту посетители, банщики, буфетчик, хранитель бассейна, парикмахерши, сантехники. Подобный тип наблюдательности — со стороны — мне начисто чужд. Я бессознательно отбираю из окружающего то, что меня близко касается. А все нейтральное или чуждое моей сути я просто не вижу. Это большой недостаток для пишущего. Угадав мою слабину, оба начали с серьезным видом «вспоминать» все новые невероятные подробности. Оказывается, рядом с нами мылась бородатая женщина, банщик с серьгой был сыном знаменитого налетчика эпохи «военного коммунизма» Леньки Пантелеева — одно лицо! — жулик буфетчик у каждого второго рака оторвал клешню, у парикмахерши, бегавшей к телефону, халат был надет на голое тело, в бассейне ходила полутораметровая щука…

Тот блаженный день, начавшийся омовением, пивом и

парикмахерской, продолжившийся корейкой, лавашем и «Саперави», имел продолжение. Нам не хотелось разлучаться. И когда официант предложил кофе, Саша решительно сказал:

— Спасибо, дайте счет. Поедем пить чай из самовара с горячими калачами.

— У тебя есть машина времени с задним ходом? — спросил Драгунский.

— Бродяга должен знать свой город. В Парке культуры, на границе с Нескучным садом, в ложбинке схоронилась чайная. Там самовар, горячие калачи с маслом и зернистая икра.

— Схоронилась, говоришь? — ядовитым голосом сказал Драгунский. — Небось на курьих ножках? В кассе — Баба Яга, официантом — Кощей Бессмертный?

— Может, поспорим?..

— Идет! На калач с икрой.

Конечно, он проспорил. Все было, как говорил Саша: самовар, калачи, горячие, сдобные, желтое масло, зернистая икра. Бабы Яги и Кощея Бессмертного не было, но их Саша и не обещал. И вот что странно: не было посетителей. Саша объяснил это тем, что никто не верит в существование такой чайной, и мы завтра перестанем верить, отнесем к похмельным видениям.

Вечер мы завершили в коктейль-холле на улице Горького, «котельной», как прозвала это заведение Галина Шергова. В компании оказался один начинающий писатель, который почему-то требовал, чтобы его называли Никита, хотя у него было другое, тоже красивое имя. Он и ныне здравствует, так и оставшись по прошествии жизни начинающим писателем. Он помнится мне человеком одаренным, умным, острым, внешне привлекательным. У его колыбели присутствовали все наличные феи, одарившие его своим богатством, кроме какой-то одной, довольно захудалой, но, видать, необходимой. У нее самой ничего нет, как у бедной родственницы, но она запускает в ход дары своих старших товарок, иначе они бездейственны, как двигатель без горючего. Все дарования Никиты остались вещью в себе, никак не оплодотворив человечество.

Никита придумал игру в неузнавание знакомых. Игра примитивная, но очень смешная. Подходит старый знакомец, дружески вас приветствует, а вы — ноль внимания. Он кланяется снова, делает приветственный жест рукой, вы сидите с каменным лицом, словно поклон относится к кому-то за вашей спиной. Человек сбит с толку, он пытается что-то вам растолковать, волнуется, горячится, вы — сама вежливость и внимание — не понимаете, чего он от вас хочет. Озадаченный, расстроенный и обиженный, человек неловко отходит. Игра занятна реакцией

неузнанных. Почти никому не удается выйти с честью из положения; все тратят массу ненужных слов. Сердятся, бывает — ругаются, чуть не плюются, хоть бы один рассмеялся и махнул на шутников рукой. Впрочем, один нашелся — Смирнов-Сокольский. Он внимательно посмотрел на Сашино отчужденное лицо.

— Простите, — сказал он, — я принял вас за своего протезиста.

Саша расхохотался, вскочил, они поцеловались. Эта игра надолго увела от меня Сашу. В тот вечер он поддался змеиному очарованию Никиты, которого знал давно, но как-то не сумел оценить. Никита принадлежал к большой и замечательной семье, обладавшей, кроме достоинств доброты, гостеприимства, расположения к людям, неизъяснимым семейным очарованием, которое каждый из членов семьи сохранял, хотя в разной степени, отрываясь от клана. Я никогда не видел таких умельцев обольщать людей, как эти обитатели дома с мезонином на Сивцевом Вражке. Стоило попасть к ним однажды, окунуться в атмосферу тепла, искренней заинтересованности в твоих заботах и бедах, глубочайшей порядочности, лишенной даже и намека на педантство и ханжество, услышать легкий, музыкальный смех, как ты навсегда становился их пленником. Саша там не бывал, возможно, поэтому проглядел Никиту, который один из всей семьи был с некоторой червоточиной, видимо, отвращавшей Сашу, хотя он едва ли отдавал себе в этом отчет.

У Никиты были все семейные достоинства — и легкий смех, и море обаяния, но иногда его привлекательное лицо корежила гримаса завистливой злобы. Бесплодность несомненного литературного таланта — вот уж: «дар напрасный, дар случайный»! — корежила ему душу, из-под шапки пепельных волос вдруг выстреливал взгляд хорька. Он знал это за собой и, чтобы компенсировать проговоры теневой стороны души, эксплуатировал вовсю родовое очарование. Если хотел, он становился неотразимым. Это было самоутверждением, какого он не мог найти в бегущей его рук литературе. Его главной и злой радостью было разрушать чужие дружбы и любови. Так, он надолго испортил жизнь одному нашему общему другу, отбив у него невесту, когда тот уехал в долгую командировку. Едва разбитое сердце склеилось, Никита равнодушно оставил девушку. Лишь случайно не преуспел он в другой подобной же попытке, но крови людям попортил немало.

Он давно уже открыл нашу общую влюбленность в Сашу и решил обездолить нас скопом. Довольно долго его чары не действовали, что лишь придавало ему охотничьего азарта, и вдруг в «котельной» Саша взял наживку. Ему чего-то недоставало

в нашем кружке. Мы были слишком серьезны, не только в том, что заслуживало серьезности, но и в загуле, по-русски безудержном, с угарцем и тьмою. Саше хотелось расслабляться более весело и легко, хотелось игры, бездельничанья с милой или дерзкой выдумкой. «Пленительная лень» была не из нашего обихода. А у Саши порой возникала настоятельная потребность в таком вот безмятежном, солнечном ничегонеделанье. Лентяй, выдумщик, острый собеседник, Никита как-то вдруг «пришелся» ему. В эту пору Саша вышел из безвестности, из подполья домашней признанности, узнал вкус денег, Да и надоело однообразие чуть надрывных аполлоногригорьевских застолий со слезой и битьем себя в грудь. Саша ушел в легкий и разнообразный мир, предложенный ему Никитой. Начав путь вдвоем, они вскоре обросли компанией звонких, прозрачных, легко воспаряющих над землей людей, не таящих под тонким слоем песенного забвения неизбывной русской маеты.

Мне кажется, что в глубине души я так и не простил Сашиного отступничества.

В последующие годы мы встречались куда реже. Ко всему еще обстоятельства моей жизни изменились: мы с женой разошлись, и не стало объединяющего наш круг дома по улице Горького. Дом, разумеется, остался, но соединял он теперь совсем других людей. Наша компания разбрелась.

Порой мы встречались с Сашей за преферансом. Меня втягивала в это дело Аня, не хотевшая окончательного угасания отношений. Я чужд картежного азарта, но тут вдруг почувствовал вкус к «пульке», нежданно явив качества довольно крепкого игрока. За картами открылась еще одна черта Саши, которую он сам называл фатальным невезением. Играя сильнее всех нас, он неизменно проигрывал. Нечто похожее было на бильярде. У Саши был отлично поставленный удар, меткий глаз, он тончайше знал игру, но брал верх куда реже, чем следовало. Что-то ему мешало. Он совсем не умел ненавидеть противника, а без этого выиграть трудно.

В преферанс Саше действительно не везло. Если он объявлял мизер на своем ходе, имея одну восьмерку, то остальная масть оказывалась на одной руке, и приходилось сразу брать неизбежную взятку. Если же Саша играл мизер на чужом ходе, то непременно оставался с «коллективом». Он постоянно налетал на четвертого валета и на те парадоксальные расклады, что потом являются в кошмарных снах. Играл Саша всегда с улыбкой, но однажды не выдержал, ударил себя ладонью по лбу, и какая-то подозрительная звень прозвучала в его голосе:

— Чего стоит все умение, знание игры, партнерство с

лучшими игроками, бесчисленные ночи над пулькой перед этим свинским, хамским невезением!.. И ведь во всем так… — добавил тихо.

Вот тогда я подумал, что невезение тут ни при чем. Мне тоже не шла карта, — похоже, я искупал невероятное, какое-то даже пугающее везение моей матери, ярой картежницы, и все же я чаще всего выигрывал. Саша был представителем почти выродившейся породы людей, которые придерживаются, сами того не желая, но это сильнее их, принципа fair play. Я знал лишь еще одного человека — художника Владимира Роскина, который мог бы поспорить с Сашей по обреченной преданности этому роду игрового поведения, да и не только игрового: fair play — это жизненная позиция.

В игре необходимы: ожесточение, беспощадность в использовании любого преимущества, умение подавлять порывы благородства и жалости, выдержка и хоть толика жульничества, ну хотя бы не отводить глаза, если противник дает заглянуть в свои карты. Ничего этого не было у двух образцовых джентльменов: Роскина и Галича, и все их игровое мастерство не приводило к выигрышу. Это не значит, что Саша и Роскин вообще никогда не выигрывали, так не бывает, ибо чужое невезение, чужое неискусство оказывались порой сильнее их бессознательной боязни победить и причинить этим боль другому существу, но суть в том, что они обязаны были выигрывать как правило, а они, как правило, проигрывали. Прикупая однажды на мизере туза и короля к валету, Саша сказал со вздохом, что надеется дожить до коммунизма.

— Зачем тебе это надо? — спросил я.

— При коммунизме будут играть с открытым прикупом, — сказал он фразу, ставшую потом крылатой.

Сейчас, когда мой рассказ, вдруг сильно рванувшийся в будущее, вновь вернулся в гиблые сталинские времена, уместно коснуться темы, которая не дает покоя нынешним хорошим молодым людям. Это гласно и безгласно обращенный к нам, старикам, вопрос: как можно было жить в кошмаре террора, зубодробительных проработок, садистских унижений, одуряющей демагогии, доносительства и предательства? Я могу ответить за своих сверстников, родившихся вскоре после революции. Мы жили молодостью, которая из-за войны чудно растянулась и довела нас до пятьдесят третьего года с неиссякаемыми надеждами, с готовностью начать новую человеческую жизнь. И мы ее начали. Впрочем, не надо думать, что предшествующую жизнь мы считали нечеловеческой, как бы ужасна она ни была. Есть такая штука — повседневность. Она заполняет время и дает

ему течь незаметно, ибо лишь незаполненное время замирает, превращается в стоячую лужу. Мы, наш круг людей, решившихся верить друг другу и не обманувшихся в этом, находили в общении друг с другом много радости. А дурное, о чем говорилось выше, пришло куда позже, но опять же обернулось лишь моральным, а не физическим предательством, служа делу самосохранения. Любопытно, что люди, выдержавшие испытание огнем, согнулись, потянувшись к жирному куску. В ту пору жирного куска не было, а если и был, то требовал не просто нравственной сделки, а подлости всерьез, до конца, на что далеко не все способны.

В принципе каждый из нас мог уничтожить другого, да и всех сразу, одним росчерком пера. Каждый был для другого инженером Гариным, вооруженным лучом смерти. Не важно, что такое же оружие было у стоящего рядом, это не тормоз, а скорее побудитель к опережающему действию, но мы все уцелели, а ведь круг наш был очень широк. Наверное, это придавало тогдашнему общению особую значительность и ценность, что-то почти ритуальное было в наших частых сборищах, которые мы все же не подвергали опасности политических разговоров. Да и о чем было говорить? Война и первые послевоенные годы были залиты алым светом патриотизма. О политике заговаривали лишь провокаторы и стукачи. Нас это не интересовало. Перед нами разворачивалось огромное поле полулегальной свободы, охватывающей и неположенную литературу, вроде Мандельштама или Павла Васильева, Селина, Джойса или Алданова, не запрещенную, но и не разрешенную живопись импрессионистов, «Мира искусства», русского футуризма, мы вспоминали театр Мейерхольда, Камерный поры расцвета, новации Каверина, Охлопкова, быковские «Гримасы», Вертинского пели до его возвращения, слушали Лещенко, — поклонялись Шостаковичу и Прокофьеву независимо от их официальной котировки, обожали «цыганщину», пили широко и шумно, но к этому тогда относились снисходительно, рукою Саши писали «Матросскую Тишину», рукою Корсаковой рисовали жестко формалистические рисунки, талантом Рихтера ставили костюмированное представление «Марсельский кабачок», воодушевлением Драгунского создавали «Синюю птичку», гортанью Кочеткова выплакивали «Балладу о прокуренном вагоне», скажу и о себе, чтобы не выглядеть паразитом: повесть «Встань и иди», рассказы «Над пропастью во лжи», «Спринтер или стайер» в первом варианте были написаны тогда. И были романы, было много загульной гитары, и драки были, и бильярд до одурения, и шатание по улицам до рассвета, когда отменили комендантский

час, а у многих к этому добавлялась помощь своим узникам. Словом, было чем жить, даже до появления замечательных трофейных фильмов вроде «Моста Ватерлоо», «Касабланки» и «В старом Чикаго». Это была наша сладкая жизнь, но вам я не желаю такой.

И это была жизнь, которая формировала Сашу. Ведь песни, которые из него хлынули, как вода из раскрученного крана, где-то в шестидесятые, возникли не враз, а вызревали постепенно, еще в молчании-мычании сороковых и пятидесятых, когда шла работа наблюдения, работа страдания и сострадания, крутеж среди людей и внезапное затворничество. Мы думали, что Саша погружается в свою сокровенную драматургию, летучие пьесы не требовали самоизоляции, но, возможно, тогда уже творилась в горле певца его главная песнь, что в должный час разольется по всей стране без помощи радио, телевидения, пластинок и профессиональной эстрады.

В мертвые годы, в халтуре, в домашнем гениальничанье, в шумном бражничанье, в глухой тишине, глубокой любви и легких романах, Набирая в глазах все больше печали, но на людях всегда держа фасон, вызревал великий менестрель Галич. В той же дряни, веселье и боли, в тех же компромиссах и верности своему стержню, не бунтуя, но и не принимая причастия дьявола, обретали себя те его друзья, которым в меру оглушенных сил удалось что-то сделать в жизни.

Весна 1953 года была весной вдвойне. Прежде всего это была полагающаяся по законам природы тревожная, слякотная, пасмурная, с редкими промывами и все равно благословенная русская весна, а черный март подарил вторую весну: отвалилась от сердца России душащая глыба — вождь народов, забрав с собой напоследок несколько тысяч задушенных в похоронной давке граждан Москвы, убыл в преисподнюю.

Все порядочные люди испытывали подъем, хотелось много пить и мало работать. В один из ослепительных майских дней мне позвонил Саша, с которым я давно уже не виделся.

— Юрушка, ты чувствуешь, какой день? Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви.

— Есть кадры?

— Кадров нет, хотя они по-прежнему решают все. Кстати, ты задумывался над этой формулировкой? Не люди, не граждане, не делатели, а кадры. Вот дубина!

— Кого же мы будем любить?

— Город полон молодых цветущих женщин. Доверимся его весенней щедрости.

— Я не умею знакомиться на улице.

Короткая пауза, затем с уверенностью, в которую я не поверил:

— Зато я мастак.

Мы встретились на улице Горького. Саша был в новом фланелевом костюме, сшитом на Марсе, мягких замшевых туфлях из другой галактики и вороновой шерстяной рубашке с кометы Галлея. Я подумал, что, если его опыт уличных знакомств и не так значителен, самый вид сработает безотказно.

Но юные существа, выстукивающие каблучками тротуары улицы Горького, были настроены на волну, далекую от нашей. Правда, они останавливались, терпеливо выслушивали Сашу, иные даже вступали в переговоры, что-то уточняли, но затем решительно, хотя порой не без легкого сожаления, продолжали свой путь. Не знаю, о чем у них шла речь, от стыда я всякий раз отскакивал к витрине, газировщице, киоску, делая вид, что не имею никакого отношения к этому приставале.

Но одно я понял: обращаться с диковатым предложением провести вместе вечер можно без риска каких-либо осложнений к любой незнакомой женщине. Саша глядел лишь на возраст и внешность, ничуть не заботясь по поводу социального и нравственного статуса дамы. Странно, что солидные матроны вели себя точно так же, как вертлявые травестюшки, сонные студентки, озабоченные служащие с портфелем, спешащие домой после утомительного трудового дня, и те неопределенного назначения смазливые существа, которые вошли в молодую литературу шестидесятых годов под кодовым названием «кадришки». Одна величественная особа даже записала Саше свой телефон — губной помадой на клочке бумаги, прежде чем сесть в поджидающий ее «ЗИС» с правительственными стыдливыми занавесочками.

У меня мелькнула надежда, что мы завершим этот вечер вдвоем — по Вертинскому: «Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски». И вообще: «Как хорошо без женщин!»

Напрасная мечта — Саша зацепил каких-то мединеток.

— Юрушка! — прозвенел восторженный крик. — Иди сюда! С кем я тебя познакомлю!..

Я подошел и представился.

В ответ:

— Нина.

— Оля.

Здороваясь, они подавали вялую ладонь и чуть приседали, будто делали книксен. Откуда взялся такой политес? Может быть, темным наитием Сталина этот старинный светский присед ввели

в женских школах?

— А теперь познакомь меня, — попросил Саша.

Я назвал его. Он счел необходимым добавить, что является автором пьесы «Вас вызывает Таймыр». Это произвело впечатление. Щедрый Саша решил поднять и мое реноме, на чем я вовсе не настаивал, но девушки — им было лет по двадцать — ни «Трубки», ни «Зимнего дуба» не читали.

— «Трубку» вы могли по радио слышать, — сказал Саша. — Ее все время передают.

— А мы в парикмахерской не работаем, — довольно находчиво сказала Нина, видимо, ведущая в паре.

Естественно, это определило Сашин выбор, а мне досталась «вторенькая», к чему я был готов, исходя из правил подобных знакомств.

Большой разницы между девушками не было: обе невысокие, ладненькие, русоволосые, с круглыми личиками. И одеты сходно: шерстяная юбка, свитер, сумка через плечо. Они вместе работали, жили рядом, в Замоскворечье, а сейчас вышли прогуляться после работы, больно вечер хорош. Все эти мало что говорящие сведения сообщила Нина.

— Куда мы пойдем? — спросил Саша. — Самое время поужинать. Предлагаю четвертый этаж «Москвы». На террасе. В помещении душно. Мы будем сидеть под московским вечереющим небом и смотреть на закат.

Девушки чуть оробели от такого велеречия. Между ними произошел быстрый, суматошный обмен, похожий на вспышку воробьиного волнения над свежей навозной кучей: шорох, шелест, мелькание крыл, скачки, шебуршня. У них, конечно, это выглядело иначе: молчаливый и поразительно богатый содержанием разговор при крайней ограниченности средств выражения — взгляд, взмах ресниц, поджатие губ, передерг плеча, вскид головы, встрях волос, вытаращ глаз, кивок. Это читалось примерно так: «Он чокнутый?» — «Вроде нет, выпендривается». — «Может, пошлем их?» — «Чуваки вроде солидные». — «Не люблю, когда лапшу вешают». — «А нам-то что — скрутим динаму»…

— Мы не одеты, — сказала Нина.

— Для этого бар… бара? Вы прекрасно одеты.

— Небось мест нету.

— Для нас всегда найдутся.

Мы разбились на пары и похлюпали к гостинице. Я мучительно придумывал, о чем бы заговорить. Страна находилась на переломе, весь мир настороженно следил, куда мы пойдем; весна чудно преобразила город, женщины скинули зимнее

барахло и в простой легкой одежде дивно похорошели; на улице ежеминутно что-то происходило: подростки, гоняясь друг за дружкой, сбили с ног лоточницу, продавец воздушных шаров упустил шарик и так расстроился, что чуть было не лишился всей связки, огромный негр купил брикет мороженого и неумело лизал его, капая на костюм, прошел Лемешев, стесняясь своей известности и красоты, пьяный мочился в урну, словом, материала для беседы было более чем достаточно, но я не знал, как им распорядиться. Я понимал, что говорить надо небрежно, беспечно, хотя и с тонким подтекстом, помогающим сближению, но какая-то тяжесть навалилась на плечи, словно Атлант дал подержать свою ношу. Впереди Саша разливался соловьем, и Нина, более смекалистая из подруг, похоже, убрала колючки. Она смеялась, потом взяла Сашу под руку.

Я начал складывать в уме идиотскую фразу, что нашим друзьям хорошо друг с другом, но не мог найти интонацию. Ирония тут неуместна и вредна, одобрение глупо, простая констатация факта — бессмысленна. Фраза должна звучать как объективное наблюдение, но с игривым подтекстом: мол, и нам бы так! Но попробуй быть игривым, когда на плечах земной шар!

— Вы в отпуске еще не были? — спросил я, удивленный собственной тупостью.

— Нет, не была. — Через минуту-другую она спросила: — А вы?

Как сказать ей, что у писателей нет отпусков, мы сами выбираем время для отдыха? Она просто не поймет. Придется объяснять статус человека свободной профессии, члена творческого союза. Это далеко заведет. И я сказал с непонятным подъемом:

— Нет, еще не был!

По счастью, мы вышли на угол Охотного ряда, надо было обеспечить переход опасного перекрестка. Я бывало и ловко — так мне казалось — взял ее за острый локоток и быстро повел через улицу, уговаривая себя, что мы выглядим живо, юно и бесконечно привлекательно. А потом я подумал, что настанет день, когда все это окажется в далеком прошлом и я буду вспоминать о маленьком приключении не только спокойно, но, может, даже с улыбкой. Скорее бы это время настало.

Мы вошли в ресторан, и дамы, как принято у наших соотечественниц, немедленно скрылись в туалете. Отсутствовали они так долго, что в душе шевельнулась спасительная надежда на «динаму». Но они все-таки вышли оттуда, в том же самом виде, в каком ушли. Что они там делали столько времени? И почему у западных женщин нет такого обычая? Надо полагать, что

физиологически они устроены так же, значит, причина не в этом. Наверное, у наших всегда что-то не в порядке с туалетом: какая-нибудь штрипка держится на честном слове, ослабла резинка на трусиках, пуговица на лифчике вот-вот оторвется, поехала петля на чулке, и ее надо заклеить слюнями. Или они забыли вымыть утром шею, почистить зубы, проверить уши. Но отечественным дамам всегда нужна доводка, как «Жигулям», идущим на экспорт. Все это коренится в запущенности советского человека и убогости нашего быта. Чем, впрочем, не исключается и повальный цистит.

Мест, конечно, не было, но Саша немедленно получил столик, к тому же у самой балюстрады, откуда во все концы распахивалось сиреневое вечереющее городское пространство.

Когда-то Саша рассказывал мне, как он завтракал с Вертинским за одним столиком в «Европейской». Саша, желая не ударить лицом в грязь перед таким ценителем всех радостей жизни, каким справедливо считался Вертинский, заказал зернистую икру, поджаренный хлеб, миноги, омлет с ветчиной, марочный коньяк и кофе. Официант равнодушно принял заказ и почтительно склонился к Вертинскому, который с брезгливой миной вертел в руках меню.

— Чаю, — наконец гнусаво сказал тот.

— Прикажете с лимончиком, вареньем или сливочками?

— Просто чаю. Вы понимаете русский язык?

После этого он трижды возвращал стакан официанту: в первый раз было не крепко, в другой — чай отдавал мочалкой, в третий — подстаканник был не по руке. Но официант, крайне небрежно обслуживший Сашу, здесь не жалел ног. А когда Вертинский ушел, забрав сдачу, официант умильно посмотрел ему вслед и сказал мечтательно:

— Настоящий барин!..

Но здесь в качестве настоящего барина фигурировал Саша. Мои жалкие попытки вмешаться в происходящее обрывались суровым взглядом официанта, желавшим иметь дело только с Сашей. Правда, его барственность отдавала сейчас купеческим размахом. Он, видно, решил ошеломить наших подруг. Какие блюда он заказывал! Какие придумывал к ним соусы! Как сокрушался, что нету устриц и трюфелей!

Старый официант с трясущейся головой наслаждался этими барскими причудами, напоминавшими ему былые сладостные времена «Ново-Московской» и «Стрельны». И даже раз обмолвился странным обращением: «Господа купцы».

Перед первой рюмкой Саша сказал:

— Юрушка, какие мы с тобой счастливые. Лучшие девушки Москвы сидят за нашим столом, а вокруг такая весна! Давайте

обойдемся без тостов. Пусть каждый выпьет за свое. И это окажется общим, ведь все мы выпьем за любовь!

Лучшие девушки Москвы как-то подозрительно отнеслись к этому витийству, они переглянулись и молча выпили.

Сашу не остановила их сдержанность, он продолжал в том же возвышенном стиле, словно утратив ориентировку в окружающем. Сыпал Мандельштамом и Пастернаком, рассказывал истории из жизни знаменитостей, о которых наши подруги сроду не слышали, замечательно рассуждал о том, как по московской весне бродят тысячи одиноких и не догадываются, что самый нужный, единственно нужный человек только что прошел мимо, бросив беглый, неузнающий взгляд, опустился на ту же садовую скамейку, задел локтем в дверях магазина, счастье часто бывает рядом, только мы не знаем его в лицо. Естественно, все это требовалось для того, чтобы оттенить редкую удачливость Саши и Юрушки, ведь «лучшие девушки Москвы»…

Надо сказать, что наши приятельницы, несмотря на все Сашино красноречие, стихи, обильный стол и серьезные возлияния, оттаивали медленно. Даже Нина, встрепенувшаяся было на улице, опять подморозилась. В какой-то момент они дружно встали, извинились и отправились в туалет. Отсутствовали они так долго, что я вторично окрылился надеждой на освобождение. Правда, сейчас не без некоторой досады. О чем сказал Саше.

— Господь с тобой! Они вернутся. Неужели ты не видишь, что они очарованы? Просто стесняются. Девственные, не испорченные цивилизацией души.

Саша оказался прав. Беглянки вернулись оживленные, улыбающиеся, какие-то одомашненные, видимо, туалетные переговоры окончились в нашу пользу.

— Небось думали, что мы динаму скрутили? — кокетливо сказала Нина и ущипнула Сашу за ухо.

— Никогда! — пылко вскричал Саша. — Я знал, что вы придете, что ты придешь! Позволь говорить тебе «ты». «Вы» лишено сердца!

Ты придешь и на голос печали,
Потому что светла и нежна.
Потому что тебя обещали
Мне когда-то сирень и луна.

Выпьем, Юрушка, за наших прекрасных подруг! За нашу встречу!

— «Бывают в жизни встречи, и то лишь иногда», — вдруг

проговорила молчаливая Оля.

Саша был потрясен.

— Как вы хорошо сказали!

— У нас на Восьмое марта поэт выступал, — чуть ревниво вмешалась Нина. — Коноплев. Он в этом…Союзе писателей работает. Со сцены травил неинтересно, а на междусобойчике хорошие стихи читал.

— Ты знаешь поэта Коноплева? — спросил меня Саша.

— Вроде слышал.

— Он известный поэт. Я один стишок даже запомнила.

— Прочтите! — молитвенно сложил руки Саша.

Нина откашлялась, постучала себя ладонью по груди, изгоняя никотиново-водочную хрипотцу.

Чтоб не страдали наши киски
В Международный женский день,
Жуй мясо, шпик, шашлык, сосиски,
Залей глаза, и к черту лень!..

Саша улыбался напряженно, слегка бодаясь, что было у него признаком душевного дискомфорта. Но быстро справился с собой и шепнул:

— А все-таки мы их приручили.

После чего стал врачевать нас от виршей Коноплева прекрасной русской поэзией. Он растрачивал себя так щедро, будто от этого зависела судьба. Большой актер не думает, для кого играет, ибо играет прежде всего для самого себя. Насквозь артистичный, Саша не применялся к аудитории, и он играл взахлеб, «при этом не выгадывая пользы».

Был одиннадцатый час, но еще дотлевала долгая майская заря, когда мы вышли из ресторана.

Я был с машиной и развозил компанию, хотя меня самого порядком развезло. Но это никогда не смущало тех, кого я развозил. Нигде в мире не видел я такого полного, спокойного, безоблачного доверия к нетрезвому водителю, как у нас. Даже когда меня почти вносили в машину и я не мог попасть ключом в щель зажигания, не было случая, чтобы кто-нибудь засомневался, стоит ли доверять свою единственную и неповторимую жизнь выпавшему из сознания шоферу. А стоило сказать: «Да что вы, братцы, мне и до дома не доехать!», как начиналось: «Зазнался!.. Бензина жалеешь…»

Первой мы отвезли Нину, она жила ближе. Саша пошел ее провожать. Настроившись на долгое ожидание, я завел с Олей разговор на библейскую тему: «Накормите меня яблоками,

напоите молоком, ибо я изнемогаю от любви». Но не успел развить тему, когда Саша вернулся. Какой-то странный, смущенный, улыбающийся, тихий. Молча сел в машину. Мы тронулись.

Старый деревянный поленовский дом Оли находился в глубине сельского замоскворецкого двора. Она сказала, что заезжать туда не стоит: народ разбудим.

— Я провожу вас, — крикнул я, когда она выпрыгнула из машины. И тихо спросил Сашу: — Что случилось?

Он боднул воздух лбом.

— Она поцеловала мне руку.

— Зачем? — тупо спросил я.

— Не знаю.

— А дальше что?

— Ничего. Что же могло быть дальше?

— Гнилой интеллигент! — крикнул я и кинулся со всех ног за Олей, решив взять с нее за себя и за того парня.

Нагнал я ее в подъезде. Тут хорошо пахло старым деревом, паутиной и теплой пылью. Оконные ниши, широкие подоконники, батареи — все располагало к любви, но Оля целеустремленно цокала каблучками по скрипучим ступеням, и я поспешил за ней.

Она отомкнула обитую клеенкой дверь и пропустила меня в сумрачную прихожую. Приложив палец к губам, открыла другую дверь и зажгла свет.

— Олька, ты, что ль? — послышался старушечий голос из за ситцевой занавески.

— Я, бабушка, спи.

Посреди комнаты стояла детская кроватка, в ней находился раскаленный младенец, заткнутый соской.

— Жарко бедняжечке! — Оля подошла и стала что-то делать с младенцем, который продолжал спать, кисло жмуря глазки.

— Девочка или мальчик? — обреченно спросил я.

— Пацанка.

— А отец где?

— Кто его знает? Нам никто не нужен. Мы сами по себе.

Кто-то тяжело, по-животному задышал. Мелькнула бредовая мысль, что за стеной обитает корова.

— Бабушка, — сказала Оля. — Астма у нее. Хорошая у меня дочка?

— Замечательная. Как звать?

— Надя. Наденька. Надюша. Надюнечка. Надежда.

— Ну, я побежал, — сказал я деловито.

Саша курил, широко раскинувшись на заднем сиденье.

— Тебе привет от Наденьки.

— Кто это?

— Надя. Наденька. Надюша. Надюнечка. Надежда. Дит любви.

— У нее дочка? Сколько ей?

— Не знаю. Совсем новенькая. Еще есть бабушка. За занавеской. Я не был ей представлен.

Саша засмеялся.

— Не злись. Это же здорово! Вот увидишь: всякие варфоломеевские ночи, как говорит наша лифтерша, забудутся, а это нет… «Вот наша жизнь прошла, а это не пройдет».

— Чье это? Ранний Коноплев?

— Нет, поздний Георгий Иванов, тоже прекрасный поэт. Вот так мы «пожуировали жизнью», по выражению лесковских купчиков, вернувшихся из Парижа…

Совсем иная история разыгралась в исходе жаркого, душного лета пятьдесят третьего года, когда люди наконец поверили, что хотя бы в физическом смысле Сталин действительно умер всерьез и надолго. И пусть в ушах еще стояли заклинания что долг советских художников до скончания века воспевать вождя, соборно творить сагу о его житии, пусть газеты еще сопливились фальшивой скорбью, пусть тело его торжественно водрузили рядом с тем, чьим полным отрицанием он был, развенчание творилось ежедневно, ежечасно, ежеминутно: выражением лиц, громким смехом, прямым, не проваливающимся внутрь себя и не ускользающим взглядом, как бы враз полегчавшим воздухом и тем, что люди начали строить планы на будущее и ждать, робко, неуверенно, потаенно ждать своих исчезнувших в Зазеркалье того социального разврата, который издевательски называли социализмом. А может, это и есть социализм?..

Эту историю мне хочется рассказать из сегодняшнего дня.

Я никак не мог отыскать нужную мне улицу возле метро «Молодежная». Уж больно противоречивы были объяснения, на что я впопыхах не обратил внимания: выходило, я должен одновременно ехать в двух прямо противоположных направлениях — к кунцевскому метро и от кунцевского метро.

Я мыкался по Ярцевской улице, которая оказалась вся перекопана, застревая то у светофоров, то в объездном потоке встречного движения, натыкаясь на заграждения и бездействующие катки, и еще раз убедился, что Москва — Богом проклятый город, а все москвичи — чокнутые. В двух шагах от большой магистрали никто и слыхом о ней не слыхал. Вопрос мой почему-то казался оскорбительным местным жителям, и отвечали они соответственно. Обхамленный и оплеванный, я все же отыскал эту унылую новостроечную улицу и как-то высчитал

дом, проехав его поначалу, поскольку на нем не было номера.

Когда я разворачивался, в машине что-то заело — я до сих пор ни черта не понимаю в автомобилях, как и тогда, когда впервые сел за баранку, — и сигнал завыл сиреной. Можно было подумать, что заработало противоугонное устройство. Я никак не мог унять истошный вой. Захлопали окна, на мою голову обрушилась злая — и справедливая — ругань. В отчаянии я схватился за какой-то провод и стал его тянуть. Провод охотно полез из нутра машины, я наматывал его на руку. Несколько тревожило, что я вымотаю из машины все кишки, но вдруг провод оборвался, вой стих, а мотор продолжал работать. Я развернулся и подкатил к подъезду, увидел сидящих на завалинке старух и узнал ее раньше, чем она поднялась, опираясь на костыли.

— Ну, здравствуй.

— Здравствуй.

Мы поцеловались, встретившись через жизнь.

— Ты не знаешь, что за сволочь там гудела?

— Знаю. Это я.

Она засмеялась, и я сразу увидел ее такой, какой она была тридцать пять лет назад. Это окружающие старухи отбрасывали на нее свой тускло-тленный отсвет да костыли сбивали глаз с цели. А теперь я видел: загорелое лицо с крепкими высокими скулами, чудесные серые глаза, пепельные волосы, благородная стать, — порода не поддается возрасту: так же хороша была до последнего дня моя мать — столбовая дворянка, а в жила Наташи текла царская кровь. Правда, ее отец Романов, белая ворона в державной семье, был лишен великокняжеского сана за мезальянс — женился на женщине незнатного происхождения. Таким образом, Наташа оказалась не великой, а простой княжной, но крестила ее греческая королева.

Этого было более чем достаточно, чтобы испортить жизнь. Дальше семилетки ее не пустили, Наташа пробавлялась то шитьем, то черчением, то спортом, то шоферила. И от всей этой жизни полезла на стену — в буквальном смысле слова, вошла: номер мотоциклиста Смирнова: гонки по вертикальной стене. Кто из старых москвичей не помнит легендарную Наталью Андросову, сотрясавшую деревянный павильон в Парке культуры и отдыха своим бешеным мотоциклом? Бесстрашная красавица стала королевой старого Арбата, где жила в полуподвале, лишь с приходом Булата Окуджавы началось двоецарствие. Межиров и Вознесенский посвящали ей стихи, Юрий Казаков сделал героиней рассказа, закончить который помешала ему смерть.

Случалось, Наташа падала, ломала кости, попадала в больницу. Но, подлечившись, снова входила в свой смертельный

номер. Ее партнеры плохо кончили: Смирнов спился, Айказуни разбился насмерть, Левитан покончил самоубийством в приступе умственного помрачения — ежедневный риск расшатал психику крепкого, как из стали литого, жестокосердного супермена. Для Наташи ее спортивная страда обернулась костылями. Измолотые хрящи срослись намертво, каждое неосторожное движение оборачивается скрутом боли. Костыли не вздыбили ей плечи, не испортили фигуры; упираясь сильные руками в перекладины, она подвешивает свое по-прежнему безукоризненно стройное тело. Так же стройны ее длинные ноги, только не могут сами ступать.

Мы поднялись на лифте. Дверь квартиры была нараспашку.

— Доверчиво живешь!

— Да кто ко мне полезет? Что у меня взять?

Взять и правда нечего. Разве что тринадцатилетнюю маленькую дворняжку с седой мордочкой. Стол, шкаф, два-три стула, узкая лежанка, полка с книгами, несколько фотографий. Среди них карточка подростка с нежным, добрым, благородным, истинно великокняжеским лицом. Это Наташин кузен Алеша — наследник русского престола, расстрелянный вместе со всей семьей в екатеринбургском подвале. По российской расхлябанности и расстрелять-то толком не сумели. Мальчика, плавающего в больной, несвертывающейся крови, добивали на полу. Нельзя отвести глаз от чистого доверчивого лица. Если б не события семнадцатого года, какой добрый, славный государь был бы у русского народа!

Наташа протянула мне листок бумаги со стихами, я еще издали узнал четкий Сашин почерк. По-моему, стихи эти не были опубликованы. Вот они:

НАТАШЕНЬКЕ

Буду ждать привета, слова, вести,
Где бы жить теперь ни довелось.
Если уж нельзя быть вместе, вместе,
Будем жить покуда вместе-врозь!
Ну а там — кто знает! К счастью, на дом
Нам за жизнь не присылают счет!
Может, мы еще и будем рядом,
Все, как кем-то сказано, течет!
И ведь должен, должен быть порядок —
Чувствам, судьбам, времени предел…
Этот август… как он пролетел,
Как он был почти безбожно краток.

Август 1953 г.

О том августе и пойдет речь.

В один из душных, раскаленных дней, в восьмом часу вечера, когда спадала тягостная, насыщенная электричеством неразряжающихся гроз жара и начиналось томление, неведомое в пору вселенского испуга — это томление было пробуждением задавленной личности, — раздался телефонный звонок.

— Юрушка, ты что делаешь? — послышался подозрительно вкрадчивый голос Саши.

— Ничего. Я один. Все уехали на дачу.

— Хочешь видеть меня с двумя очаровательными дамами?

— Поклонницами поэта Коноплева?

— Нет, нет! Это настоящие дамы.

— Но мне нечем принять настоящих дам. В доме шаром покати. Кажется, есть кофе.

— Мы все привезем. Берем такси и едем. — Саша сразу положил трубку.

Мне вспомнилось наставление Драгунского: никогда не поддавайся, если товарищ напрашивается к тебе с двумя дамами, вторая обязательно окажется крокодилом. Я пожалел о своем опрометчивом согласии, но отменить его не было возможности. Вспомнился и другой наказ Драгунского: если ты уже влип, налей глаза до одурения, и в какой-то миг ты обнаружишь в крокодиле неяркую степную красоту.

Я едва успел прибрать в комнате, помыть рюмки и бокалы, когда восторженный лай эрделя Лешки возвестил о приходе гостей.

Я открыл дверь и пережил одно из самых сильных потрясений в моей жизни. Как будто цветы внесли под звуки тарантеллы в убогую квартиренку. Она наполнилась благоуханием, светом, звенью молодой великолепной жизни. И не скажешь, какая из двух красивей, настолько они разные. Одна — нордического типа: высокая, стройная, с развернутыми плечами, пепельноволосая, с матовыми серыми глазами, другая Дина Дурбин — один к одному. Только мы знали черно-белую Дину, а эта была чудно расцвечена — природой больше, чем косметикой. С гордостью принца-консорта Саша представил нордическую красавицу, назвав полным, хоть и утраченным титулом, затем ее подругу, артистку эстрады, работавшую в номере знаменитого эксцентрика. Меня ошеломили королевское происхождение и спортивная слава Княжны, но сразила меня не она, а Дина Дурбин, что весьма обрадовало Сашу. Оказывается, они с

Княжной были знакомы еще до войны, но как-то не угадали друг друга, а сейчас пришло отнюдь не запоздалое прозрение.

Они встретились случайно на концерте в Измайловском парке, где выступала Дина Дурбин, и решили вместе поужинать у одного нашего общего друга. Но там вырубился свет, и тайная вечеря в кромешной темноте не прельщала подруг. Этому я и был обязан неожиданным знакомством. Моя ценность для них заключалась в квартире с действующим освещением.

Вот такой странный ход придумала судьба, чтобы перевернуть мою жизнь: в скором времени Дина Дурбин стала моей женой.

Не было у меня ничего прекраснее той поры «парных» романов. Новая любовь чудесно сплелась со старой и новой дружбами. Мы старались не разлучаться. Ходили вместе на выставки, которых вдруг стало очень много, в кино, на концерты, часами простаивали в деревянном павильоне, который Княжна сотрясала чудовищным громом своего ревущего, плюющегося голубым дымом мотоцикла, обедали и ужинали в ресторанах, где возникала какая-то домашняя, доброжелатель-пая атмосфера. И стучала в висок пронзительно и волнующе, как свановская нота в сонате Вентейля: «Сталин сдох!.. Сталин сдох!..»

Гранд-отель. Огромный и высоченный зал. Я танцую с Диной Дурбин. Вдруг радостный женский голос:

— Здравствуйте, дорогой сосед!

Рядом топчется со своей миловидной русской женой корреспондент Юнайтед Пресс Генри Шапиро. Мы шестнадцать лет живем в одном подъезде, из которого взяли Осипа Мандельштама и Сергея Клычкова, я на первом, он на втором этаже, но никогда не здороваемся, делая вид, что не знаем друг друга. Когда у американца засоряется раковина, ванна или уборная, а случается это нередко, поскольку дом наш стар и гнил, нас заливает фекалиями, а мы сидим и не рыпаемся. Боже упаси вступить в контакт с иностранцем! Самый страшный момент в моей жизни настал, когда, ставя свой «шевроле» на стоянку возле дома, Шапиро сцепился буфером с моим «Москвичом». Такое склещивание грозило обернуться десятью годами без права переписки, конечно, не для корреспондента Юнайтед Пресс. Ведь сколько шпионских сведений мог я ему передать, пока мы растаскивали машины, и запросто продать секреты своего мастерства. Несколько месяцев мы не спали, ожидая рокового звонка в дверь. Мне были собраны теплые вещи. Обошлось. А теперь: «Здравствуйте! Как я рад вас видеть! Почему вы никогда не зайдете?» — «Закрутился, знаете… Непременно зайду». Я зашел к ним через двадцать шесть лет в Миннеаполисе, где читал

лекции в университете, а их старшая дочь профессорствовала на кафедре русского языка. А потом принимал бывшую соседку у себя на даче. И тоже обошлось. Но все происходило уже в либеральную эпоху застоя.

Однажды мы возвращались из ресторана гостиницы «Советская», и меня задержал гаишник. Не помню, какое нарушение я сделал, вроде бы никакого, он просто увидел мое лицо.

— Права! — сказал молодой, белобрысый, очень строгий лейтенант, и я понял, что лишился машины в дни, когда она мне нужнее всего.

— Ну, лейтенант! — нежнейше пропела Дина Дурбин и просунулась к нему всей необъятностью пушистых сияющих глаз. — Простите нас!

Лейтенант вздрогнул, покраснел, даже чуть отшатнулся, но сохранил верность долгу и присяге.

— Права! — повторил он.

— Брось, лейтенант! — послышался чуть хрипловатый, словно севший, незнакомый голос Княжны. — Больно ты прыткий. Зачем Юрика обижаешь?

Лейтенант посмотрел на кружевное пенное голубое и палевое, грозно надвигающееся из сумрака машины, и что-то дрогнуло в нем.

— Они пьяные.

Кружевное пенное голубое и палевое придвинулось еще ближе, объяло светом невиданной красоты, той, что спасет мир, и вдруг озвучилось совсем не музыкой сфер:

……

……

Я вынужден прибегнуть к опыту дореволюционных издателей «Пантагрюэля», заменявших многоточием целые главы, «в силу крайней непристойности», как обязательно сообщалось в сноске. То, что выдала Княжна лейтенанту, можно услышать во время пиратского бунта, ссоры биндюжников или грузчиков в одесском порту, на бандитском толковище перед вынесением смертного приговора.

Мы с Диной Дурбин помирали со смеху. Саша улыбался несколько принужденно, он был шокирован, сбит с толку. Зато милиционер должным образом оценил контраст старинной кружевной прелести княжеского облика и неправдоподобного цинизма речевого потока.

— Как в театре! — сказал он, утирая слезы. — Спасибо вам!

Я сохранил шоферские права, за руль по требованию милиционера села Княжна, чья складная речь доказала

совершенную ее трезвость. В благодарность лейтенант был приглашен в Парк культуры на мотоциклетные гонки.

Как-то в разговоре с Сашей, вспомнив об этой истории, я сказал, что не ждал от него такого ханжества.

— О чем ты? — не понял он.

— Ты смутился, как красная девица, когда Наташка хулиганила.

— Что за чепуха! — Он болезненно сморщился. — Я понял, какой у нее грубый и страшный жизненный опыт. Бедная Наташа, как же мурыжила и била ее жизнь, через какие бездны таскала! По тонкой, нежной коже каленым железом… Я не хотел думать об этом, а как теперь не думать?..

Я понял Сашу много времени спустя, когда Наташа рассказала мне свою жизнь. Да, нелегко уцелеть в нашей действительности княжне царской крови. Она прошла через ад. Преследования, издевательства, шантаж, упорные, неотвязные попытки «святого дела сыска» пристегнуть к своей упряжке, побеги из Москвы, уход на дно, чтоб забыли, оставили в покое, рабская зависимость от подонков партнеров, обиравших до нитки за то, что держали в номере, подлость во всех видах и образах — только Романова и могла выстоять.

То был последний взлет нашей дружбы с Сашей, растянувшийся на годы, а потом началось медленное угасание, приведшее не к разрыву, а к отчуждению.

Я очень долго не ощущал, что наши дороги пошли в разные стороны. Прежде всего мы достаточно часто виделись, и между нами продолжался дружеский обмен: мы сталкивались во дворе и не отпускали друг друга без хорошего разговора, я навещал Сашу, когда он болел, а это случалось нередко, он был очень внимателен ко мне во время моего инфаркта (я лежал дома); Саша как большой специалист обучал меня душевной гигиене сердечника. Особенно ликовали мы при случайных встречах, скажем, в Ленинграде, прямо душили друг дружку в объятиях, и начинались посиделки на всю ночь. Бывало и другое. Мы уже долго не виделись, и вдруг взволнованный звонок Саши:

— Срочно приходи!

Бегу. У Саши в руках известное, но непонятное стихотворение Мандельштама «На розвальнях, уложенных соломой…». Мы его любим и ненавидим, как укор нашей поэтической глухоте.

— Я держу Мандельштама за хвост, — с легким самодовольством заявляет Саша. — Первое и самое главное — эти стихи посвящены Марине Цветаевой, как и предшествующие «В разноголосице девического хора». Еще одно любовное стихотворение Мандельштама. Выходит, у него их не так уж мало.

Надо ли говорить, что мы понятия не имели о письме Цветаевой к Бахраку, где она прямо называет посвященные ей стихотворения Осипа Эмильевича?

— Тут нет никакой Цветаевой, — уверенно говорю я.

— А кого везут на «розвальнях, уложенных соломой»? Ца-ре-ви-ча! Лжедмитрия, которому она хотела быть Лжемариною. Мандельштам вживается в Самозванца от сознания преступности своей любви — Марина была замужем.

— При чем тогда: «А в Угличе играют дети в бабки. И пахнет хлеб, оставленный в печи»? Тут же явно об убиении малолетнего Дмитрия Иоанновича.

— Правильно, это координата времени. Исток ненавидимого Мандельштамом Смутного времени, губительного для России.

— А что значит «три встречи» и утверждение: «никогда он Рима не любил»?

— Три встречи — не знаю. Или что-то очень личное, или три религии в жизни Мандельштама. От иудаизма через католицизм к православию. От Рима он уже отрекался в стихах. И не признавал Москву третьим Римом. А Москву православную, это очень важно, ему открывала «болярина Марина».

— Я все же не понимаю связи частей.

— А я понимаю, но не могу объяснить, — засмеялся Саша чуть принужденно. — Тут зашифрованы очень конкретные вещи: любовь к Марине, грех-преступность этой любви, обретение православия с его средоточием — Москвой и предчувствие катастрофы. Она в черных птичьих стаях и подожженной соломе. Это символ бунта.

— Я все же не ухватываю, почему в конце гибель?

— А ты считаешь, что тут могло кончиться свадьбой? Как в пушкинских сказках? Ведь ко всему еще это 1916 год, а Мандельштам был провидцем.

Мы мучились, изобретая пилу, оторванные от мировой культуры, от мирового ищущего и обретающего разума, давно уже прочитавшего это стихотворение, хотя и не в последнюю его глубь. Так было у всех нас, и не только с Мандельштамом. А потом удивляемся, почему отстала промышленность, одряхлела техника, развалилась наука, отсутствуют изначальные навыки управления, нет мяса, мыла и обуви. Неужто все дело в Мандельштаме? И в нем тоже. В свободе раскованного разума, который не изолируется от мировой информации, мирового обмена, всего богатства культуры, питаясь мякиной мертвых догм и перемолотой чужими челюстями, отрыгнутой чужим желудком жвачкой.

Наше расхождение началось в пору, когда песни Галича

завоевывали страну. Рать его поклонников была если не многочисленнее тьмы почитателей Окуджавы, то куда шумнее, поскольку моложе. Саша знал, что делает главное дело своей жизни, и дело весьма опасное, которое может сломать ему судьбу, ему нужно было понимание и союзничество, а я не мог ему этого дать. Я был в плену у Окуджавы, Сашины песни мне не нравились.

А так хотелось, чтобы нравились, ведь я по-прежнему любил Сашу и боялся потерять его окончательно, впрочем, долгое время такая мысль мне и в голову не приходила.

Как-то мы оказались в Ленинграде вместе: Саша, Булат и я, хотя каждый приехал по своему делу. У меня в номере началось нескончаемое застолье, что так любил Саша и не выносил Булат, но терпел, поскольку собрались наши общие близкие друзья. Невольно вспоминается строфа Георгия Иванова о милых приметах Царского Села: «То, что Анненский нежно любил, то, чего не терпел Гумилев».

Среди присутствующих оказалась очередная Сашина поклонница, женщина большой душевной энергии и, как выяснилось много позже, выдающегося литературного дара, которого никто не хотел за ней признать. Сейчас мне кажется, что этой женщине, с ее страстным, необузданным, склонным к конфликтам характером, очень хотелось столкнуть наших бардов, в надежде, что верх окажется за ненаглядным ее Сашей. Она все время висела на телефоне, отыскивая ристалище для песенного поединка, гостиничный номер для этого не годился. Словом, готовилось нечто вроде трагического состязания знаменитых менестрелей Вольфрама фон Эшенбаха и Генриха фон Офтердингена в замке Вартбург. Там побежденный должен был принять смерть. И лишь заступничество великого барда Вальтера фон Фогельвейде склонило владетельную княгиню помиловать побежденного Офтердингена, заменив ему смертную казнь изгнанием. Не думаю, чтобы Сашина подруга оказалась столь же милосердной. Наконец дом для песни был отыскан.

Окуджава — это было в его стиле — сказал, что петь не будет, но с удовольствием послушает Сашу. Гитару тем не менее он с собой прихватил.

Мы приехали в типично петербургскую старую квартиру с высоченными, темными от копоти потолками, кафельными печами и останками гарнитура красного дерева. Старинные гравюры с мачтами и парусами угрюмились на стенах. Но тридцатилетняя хозяйка была вполне из нашего времени, даже несколько впереди, она исходила агрессивным задором, сленгом и никотином. И все время что-то потягивала из стакана. Нам всем

поднесли выпить и сразу расчехлили Сашину гитару с загнутым грифом.

Саша пел очень много, как всегда не ломаясь, на всю железку. Тут были песни из «золотого фонда»: о том, как «молчальники выходят в начальники, потому что молчание золото», о суперноменклатурном зяте, растоптавшем чужую жизнь, о том, что «любое движение вправо начинается с левой ноги», о могилах сталинских лагерей, перед которыми «премьеры» не преклоняют колен, о Егоре Петровиче, которого руководящие указания подымают со смертного ложа, о народном Демосфене Климе Петровиче, выступающем на митинге от лица советской матери. После каждой песни Сашина поклонница и хозяйка дома обводили слушающих восторженно-свирепым взглядом: мол, попробуй скажи, что тебе не нравится. Но это никому и в голову не приходило. Всем нравилось, все любили Сашу и восхищались им. Я тоже восхищался, не пытаясь ничего оценивать, Сашиной смелостью, едким сарказмом и болью за униженных и оскорбленных.

Быть может, все обошлось бы, но Булат дал себя уговорить спеть. Больше всего старался в своем неизменном благородстве Саша. Ему Булат не мог отказать. И вот уже последний троллейбус плывет над Москвой, верша по бульварам круженье…

Сознание не участвовало в том вздохе — стоне души, который вырвался из меня, едва замолк голос певца.

— Боже мой, как хорошо!..

— А вы не кричите! — перекосив лицо ненавистью, заорала хозяйка дома. — За стеной люди спят!..

— Нет элементарного такта, — свистящим шипом кобры поддержала Сашина поклонница. — В чужом доме!.. Какое хамство!..

Это было так дико по невоспитанности, злобе и несправедливости: и Булат, и особенно Саша рождали куда больше шума, никого не тревожившего за толстыми ленинградскими стенами, — что я растерялся, съежился и не нашел ответа.

Мне казалось, что Саша должен осадить их, но он промолчал. Видимо, окончательно понял по моему невольному проговору, что его муза мне чужда, и, как говорится, умыл руки. Больше он никогда не пел в моем присутствии.

Когда Владимира Войновича, недавно гостившего в Москве, спросили на телевидении тоном жесткого утверждения: вы, конечно, любите Галича? — он, отвечавший до этого тоже жестко и решительно до агрессивности, вдруг смутился и промямлил, что любил, «как и все мы тогда», Окуджаву… Но да… конечно, он

хорошо относится и к Галичу…

Отвлекусь на вдруг мелькнувшую мысль: почему можно любить Толстого и Достоевского, Чехова и Бунина, Мандельштама и Пастернака, Леонардо и Рафаэля, Пруста и Джойса, но нельзя любить Козловского, если любишь Лемешева, Доминго, если любишь Паваротти, Тибальди, если любишь Каллас. Исключения бывают, но крайне редко. Может быть, пение действует на какие-то ментальные или чувственные центры, что исключает совместительство, как истинная любовь-страсть?

Я, как и Войнович, пусть он моложе меня, человек эпохи Окуджавы. Моя любовь к нему не уменьшилась и сейчас, хотя я стал куда восприимчивей и открытее другому пению. В том числе песням Галича, слушаю их с огромным удовольствием. Кажется, я могу объяснить, в чем тут дело.

Недавно мне дали прочесть рукопись мемуарной книги одного умного и одаренного журналиста-ученого (надеюсь, рукопись эта станет книгой), где он пишет о своей потрясенность Галичем в те самые годы, о которых речь идет у меня. Человек шестидесятых годов, он говорит, что любил Окуджаву, но явился Галич и отнял эту любовь. Ибо Булат Окуджава, при всем его таланте и обаянии, выражается символами, порой не до конца ясными (черный кот, который в усы усмешку прячет), а Галич все называет впрямую, своими именами. Его гражданское чувство, мол, куда сильнее и действеннее.

Это не локальная проблема: Окуджава — Галич. Когда вышел фильм «Покаяние», его многие не приняли за иносказательность, «замаскированность» героя. Надо было делать фильм впрямую о Сталине, а не размывать образ: то ли Сталин, то ли Берия, то ли какой-то диктатор местного масштаба. Но громадность этого фильма как раз в том, что он дает вселенский, на все времена, образ деспотизма: от древних царств и Рима до наших дней, а не разменивается на конкретику частных судеб и характеров.

Первый фильм о пережитом апокалипсисе мог быть только таким. Трагический фильм впрямую о Сталине вообще невозможен, потому что, превращая жизнь в трагедию, сам Сталин не был фигурой трагической. Низкорослый, рябой, сухорукий, косноязычный дворцовый интриган с примитивным мышлением и отсутствием душевной жизни — отсюда его ошеломляющее и часто необъяснимое кровоядство — не Макбет и даже не Ричард III — у него не могло быть такого взлета, как у горбатого хромца, обольстившего венценосную вдову над могилой убитого им мужа. И о Гитлере не может быть трагического произведения, он тянет разве что на сатиру в духе чаплиновского «Великого диктатора». Сталин — страшная, но

пошлая фигура. Художественное чутье Абуладзе подсказало ему единственно верное решение. Он создал могучий символ, а не бытовую, пусть и «украшенную» всеми пороками фигуру.

Для меня — и не только для меня — Окуджава больше сказал о проклятом времени загадочной песней про черного кота, чем Галич предметными и прямолинейными разоблачениями. Но дело не только в этом, и даже вовсе не в этом. Окуджава разорвал великое безмолвие, в котором маялись наши души при всей щедрой радиоозвученности тусклых дней; нам открылось, что в глухом, дрожащем существовании выжили и нежность, и волнение встреч, что не оставили нас три сестры милосердных — молчаливые Вера, Надежда, Любовь, что уличная жизнь исполнена поэзии, не исчезло чудо, что мы остались людьми. Окуджава открывал нам нас самих, возвращал полное чувство жизни, помогал преодолению прошлого всего, целиком, а не в омерзительных частностях. И для людей, несших на себе клеймо этого прошлого, его часто печальные, но не злые песни были значительней разоблачений и сарказмов Галича. А вот уже другому поколению, не знавшему наших мук и душ пропажу, конкретика песен Галича была привлекательней.

Для меня песни Галича зазвучали по-настоящему года три-четыре назад. Казалось бы, то, о чем он поет, отодвинулось, утратило остроту, — ничуть не бывало. За минувшие годы мы не только не залечили ни одной болячки, не разрешили ни одного мучительного вопроса, не приблизились к чему-то лучшему, если исключить право (весьма лимитированное) кричать о наших муках, физической и моральной нищете и униженности, но довели все до последнего предела. И Сашины сарказмы ничуть не пожухли, напротив, выострились. Теперь пришло время называть все своими словами, прямо в лоб. Покров тайны сорван с действительности, не надо играть ни в какие символические игры, нужны конкретные имена, точные обстоятельства преступлений. Сашины песни переживают второе рождение, став как никогда нужными расхотевшему терпеть народу.

Так вот соединился я с Сашиными песнями. А в далекие годы мне куда больше нравилась его поэма о Корчаке, стихи. Любил же я лишь песню о возвращении. Саша оказался провидцем, хотя едва ли мог предположить, что возвращение его на родную землю будет столь победительным.

Я по заслугам потерял Сашу. Он шел своим крестным путем, он был обречен песне, знал, что его ждет жестокая расплата: либо тюрьма, либо изгнание — и не мог тратить душевные силы на тех, кто был всего лишь тепел.

Я все время думаю о Саше, разговариваю с ним, вижу его

прекрасные глаза, улыбку, слышу глубокий голос, так богатый интонациями доброты, и вдруг олений трубный возглас сотрясает мне душу: «Юрушка, какие мы счастливые, лучшие девушки мира!..»

Ах, Господи, где они, где мы, где прошлогодний снег?..